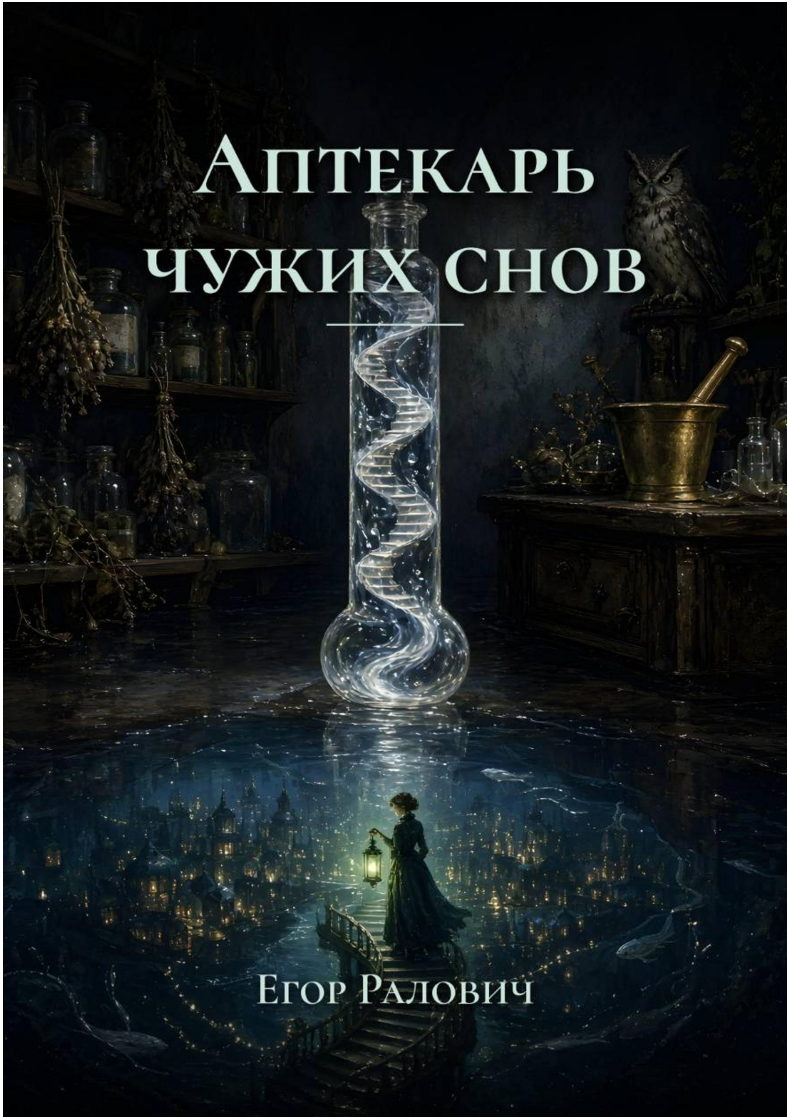

Аптекарь
чужих снов
Егор Ралович

Егор Ралович

Аптекарь чужих снов

https://litres.ru/74753572
SelfPub; 2026

Аннотация

В губернском Звенце сны варят на заказ. Аптекарь Павел Остужев, хозяин аптеки «Сова и ступка», собирает настои из трав, лунной воды и частицы самого клиента и строго соблюдает главный запрет ремесла: нельзя варить один сон на двоих. Общий сон перестаёт быть сном и становится местом, а место может удержать человека. Сам Павел не видит снов с тех пор, как девять лет назад исчезла его жена.

Когда купеческая вдова, которой он сварил сон, пропадает из запертой спальни, подозрение падает на него. Следователь Туманов не верит в сноварение, но людей становится всё меньше: писец, гимназист, прачка, пекарь. Всем им перед исчезновением снилась белая лестница вниз и женщина с зелёным фонарём.

Вместе с острой на язык ученицей Улей Павел спускается туда, куда ведёт лестница, и находит под рекой второй город, где фонари не гаснут. Там его ждёт ответ на вопрос, который он девять лет боялся себе задать.

Содержание

Глава 1. Сова и ступка 4
Глава 2. Пустая постель 18
Глава 3. Белая лестница 31
Глава 4. Второй 44
Глава 5. Управа 57
Глава 6. Зелёное стекло 70
Глава 7. Гимназист 82
Глава 8. Ночь у постели 95
Глава 9. Пристав 109
Глава 10. Склянки 123
Конец ознакомительного фрагмента. 129

Егор Ралович
Аптекарь чужих снов

Глава 1. Сова и ступка

Колокольчик над дверью звякнул в тот час, когда на Солодовой улице зажигают первые фонари, а в аптеке «Сова и ступка» начинают варить ночные заказы.

Павел Ильич Остужев не поднял головы. Он стоял у медного котелка на спиртовке и считал капли. Лунная вода шла из узкой склянки с притёртой пробкой, и каждая капля, падая в отвар, давала короткий серебристый круг, который расходился и гас. Семь. Восемь. На девятой отвар должен был потемнеть до цвета крепкого чая, и он потемнел, послушно, будто ждал этого всю жизнь.

– Павел Ильич, – сказала из-за прилавка Уля тем голосом, каким говорят «к вам пришли, и вы знаете, кто». – Мавра Сидоровна.

– Проси в заднюю комнату. И поставь чайник.

– Чайник стоит. Я его ещё в пять поставила, вы же сами сказали, что она придёт в шесть, а она всегда приходит раньше, потому что боится, что вы закроетесь.

Павел погасил спиртовку, накрыл котелок стеклянной крышкой и только тогда посмотрел на ученицу. Устинье Пес-

ковой было семнадцать лет, и уже два года она служила в аптеке. За это время она выучила названия трёхсот трав, научилась отличать по запаху майскую полынь от июльской, а ещё научилась отвечать хозяину раньше, чем он договорит. Последнее Павел не одобрял, но и отучать не пытался: Уля была права чаще, чем ему хотелось.

– Халат, – сказал он.

– У вас рукав в золе.

Он посмотрел на рукав. Рукав был в золе.

Вдова купца второй гильдии Мавра Сидоровна Клыкова ждала в задней комнате, сидя на краешке плюшевого кресла так прямо, будто кресло было скамьёй в церкви. Это была крупная женщина лет пятидесяти пяти, в чёрном шёлковом платье, которое она носила уже третий год, с тех пор как схоронила мужа, и в чёрной кружевной наколке на седых волосах. Руки она держала на коленях, на ридикюле, и пальцы её не переставали двигаться: перебирали замочек, расправляли бахрому, снова находили замочек.

– Доброго вечера, Мавра Сидоровна.

– Доброго, доброго, батюшка Павел Ильич. – Она привстала, он махнул рукой, и она опустилась обратно. – Готово?

– Почти готово. Остаётся ваша частица и основа. Вы принесли?

Она раскрыла ридикюль и достала оттуда сложенный вчетверо носовой платок. В платке лежал короткий седой во-

лос, перевязанный ниткой, а рядом – маленькая пуговица, перламутровая, с обломанным краем.

– С его жилета, – сказала она тихо. – С того, в котором он к обедне ходил. Я подумала, раз вы говорили про частицу, то, может, и его частицу положить. Чтобы уж наверняка он пришёл.

Павел взял пуговицу двумя пальцами и некоторое время держал её на ладони. Перламутр был холодный и тусклый, по краю шла трещина.

– Мавра Сидоровна, – сказал он, – я вам в прошлый раз объяснял и сейчас объясню, вы уж не сердитесь. Сон варится на одного человека. На вас. Частица нужна ваша, чтобы настой знал, чей он. Вещь покойного можно положить рядом, в отвар она войдёт как запах, как память, и Никифор Лукич вам приснится. Но его частицы как живого человека в настое не будет и быть не может. Это ваш сон. Вы в нём будете не одна, но гость в нём будет вашей памятью о нём. Понимаете разницу?

– Понимаю, батюшка, понимаю. – Она закивала часто-часто. – Мне бы только увидеть. Мне бы только сказать ему, что я лавку на Хлебной не продала, как он велел, что сын управляется. Он перед смертью всё про лавку. А я ему тогда и не ответила толком, я плакала.

– Скажете, – кивнул Павел. – Сон будет спокойный. Летний, как вы просили. Сад за домом на Хлебной, вечер, самовар. Он придёт, сядет напротив. Вы ему всё и скажете. Он

вам ответит, но ответит тем, что вы сами о нём помните. Не пугайтесь, если он заговорит его словами. Это значит, что вы хорошо его помните.

Уля внесла чай в двух стаканах в подстаканниках, поставила на столик и вышла так же бесшумно, как вошла. У двери она на мгновение задержалась, и Павел знал, что она слушает. Он не стал её гнать. Сноварение – ремесло, которому учатся не по книгам, а вот так: у порога, вполуха.

– Пейте, – сказал он вдове. – А я закончу.

Котелок в лаборатории уже остыл до нужной теплоты: приложишь ладонь к меди и держишь, не отдёргивая, до счёта двадцать. Павел развязал нитку на седом волосе, взял волос пинцетом и опустил в отвар. Волос лёг на поверхность и не тонул, а потом медленно, словно нехотя, свернулся кольцом и ушёл вниз. Это было хорошо. Плохо бывает, когда частица не тонет совсем, – значит, человек не готов к сну, и сон ему пойдёт во вред. Тогда настой выливают и деньги возвращают.

Пуговицу он положил в отдельную фарфоровую чашечку и залил тремя ложками отвара. Пусть отдаст запах. Через четверть часа он её вынет и вернёт вдове.

Оставалась основа.

Основу в Звенце продавала только Сноварная управа – густую, тягучую, цвета тёмного мёда, в пузатых склянках зелёного стекла с сургучной печатью на горлышке. Без основы настой оставался просто отваром трав: ты выпьешь его,

хорошо выспишься, но ничего не увидишь, кроме тех снов, что приходят сами. Основа связывала. Она делала из трав, воды, частицы и памяти одну нить, и на эту нить нанизывался сон, как бусины на леску. Из чего её варили на управском заводе за рекой, знали только старшина и двое-трое мастеров. Остальным полагалось покупать, платить пошлину и не спрашивать. Павел двадцать лет её покупал, платил и не спрашивал.

Он взял с полки новую склянку, недавно принесённую разносчиком, сломал сургуч, вынул пробку. Основа пахла так, как пахла всегда, – тёплым воском, сухим липовым цветом и чем-то ещё, что Павел про себя называл «запахом закрытых глаз». Он отмерил три чайные ложки, опустил их в котелок по одной и стал медленно мешать деревянной лопаткой посолонь. На двадцатом обороте отвар загустел, стал непрозрачен и чуть заметно засветился изнутри, будто в глубине его кто-то держал свечу.

– Уля.

Она появилась мгновенно, как будто стояла за дверью. Впрочем, она там и стояла.

– Проверь.

Это тоже было частью ученичества. Уля подошла, наклонилась над котелком, закрыла глаза и втянула воздух носом. Постояла. Втянула ещё раз. Павел смотрел на её лицо: тонкое, скуластое, с веснушками, которые даже зимой не сходили, и с упрямой складкой между бровей.

– Липа, – сказала она. – Чабрец. Душица, немного. Мята полевая, не садовая. Яблоневый лист, сушёный, прошлогодний. Лунная вода – девять капель. Волос седой. Перламутр. Основа.

– Всё?

Она помолчала.

– Всё. Только основа сегодня какая-то... не знаю. Сыроватая. Как будто из погреба.

Павел сам наклонился. Он тоже закрыл глаза. Воск, липа, закрытые глаза. Ничего сырого он не чуял, но нос у Ули был лучше, это он признал ещё в первый год.

– Новая склянка, – сказал он. – Новая варка на заводе. Может, сырая погода была, может, бочку не просушили. Плесени нет?

– Нет, плесени нет. Просто погреб.

– Запиши в книгу. Склянка такая-то, запах погребной, слабый. Если в следующей повторится, я спрошу на складе.

Уля кивнула и ушла записывать. Павел дал отвару настояться, вынул из чашечки пуговицу, обтёр её чистой полотняной салфеткой, процедил настой через двойной слой марли в маленький пузырёк тёмного стекла и запечатал воском. На пузырёк наклеил ярлычок, где своим мелким, ровным почерком вывел: «Г-же Клыковой. Сон летний, сад на Хлебной. Принять перед сном, лёжа, не вставая после. Не более одного раза в седмицу».

Вдова ждала с пустым стаканом в руках. Он отдал ей пу-

зырёк и пуговицу.

– Выпьете сегодня, когда ляжете. Не раньше. Свечу погасите. Если проснётесь ночью и захочется встать – не вставайте, полежите, сон вернётся. Утром будет тяжесть в голове, это пройдёт к обеду. Если сон окажется не таким, как вы ждали, приходите, расскажете. Иногда первый раз выходит не совсем то.

– А если... – Она запнулась, и пальцы её вцепились в пузырёк. – А если он мне скажет, что я дура? Он мне часто говорил.

Павел помолчал.

– Тогда вы ему скажете, что сами знаете, – ответил он. – И что лавку всё равно не продали.

Мавра Сидоровна вдруг рассмеялась – коротко, всхлипнув, – и вытерла глаза кончиком платка, в котором принесла волос.

– Ох, батюшка. Ох, Павел Ильич. Сколько я вам должна?

– Как договаривались. Три рубля.

Она положила на столик три бумажки и сверху серебряный гривенник – «девочке на пряники», – и ушла, прижимая ридикюль к груди так, будто несла в нём живое.

Когда колокольчик за ней отзвенел, Уля вышла из-за прилавка, взяла гривенник, подбросила его на ладони и сунула в карман фартука.

– Она добрая, – сказала она.

– Добрая.

– А правда, что нельзя варить на двоих?

Павел снял халат, повесил на крючок и сел к столу, где лежала толстая книга заказов в кожаном переплёте. Книгу вела Уля, и почерк её за два года из корявого стал почти приличным.

– Правда, – сказал он. – Это первое правило ремесла. Его пишут на первой странице устава Сноварной управы. Его приносят в клятве, когда получают свидетельство. Ты будешь его приносить через год, если я тебя допущу.

– Допустите.

– Посмотрим. – Он перевернул страницу. – Один сон – один человек. Сон, который видят двое, перестаёт быть сном.

– А чем становится?

– Местом.

Уля села напротив, положила локти на стол, подбородок на сложенные кулаки и посмотрела на него снизу вверх, как смотрела, когда хотела вытянуть больше, чем ей полагалось.

– Каким местом?

Павел вздохнул.

– Сон одного человека – это как вода в ладонях. Пока держишь, она есть. Разжал пальцы – вытекла. Утром проснулся, и нет её, только мокрые руки и что-то вспоминается до обеда. Так и надо. А если двое держат одну воду, она уже не вытекает. Два человека держат её крепче, трое ещё крепче. Сон начинает жить сам по себе, когда в нём никто не спит. В

нём появляются улицы, которых никто не придумывал. Двери, которые никто не открывал. Он становится местом, понимаешь? Как дом, как город. А место может удержать человека. Не выпустить утром.

– И что тогда с человеком?

– Тогда человек не просыпается.

– Умирает?

– Не знаю, – честно сказал Павел. – В уставе написано «теряется». Это старое слово. В старых книгах разное пишут. Что тело лежит и спит, пока не иссохнет. Что тело уходит следом за душой. Что люди возвращаются через много лет и ничего не помнят. Я не видел. Никто из живущих в Звенце сноваров не видел. Потому и правило.

– А вы когда-нибудь хотели? – спросила Уля. – Сварить на двоих?

Он поднял на неё глаза, и она поняла, что спросила не то, что следовало, и отвела взгляд.

– Иди посмотри, не остыл ли котелок для Лемешевых, – сказал он ровно. – Им к девяти. И вымой чашечку из-под пуговицы, перламутр жирный, оставляет пятна.

Уля ушла. Павел сидел над книгой, но не читал её. Он смотрел на свои руки, лежащие на раскрытых страницах, – большие руки с короткими ногтями, с жёлтыми пятнами от зверобоя на указательном пальце, с белым шрамом на запястье, который остался от того, что однажды, девять лет назад, он схватился за горячую медь и не почувствовал боли.

Девять лет он не видел снов.

Об этом знали трое: старая кухарка Аграфена Лукинична, которая служила ещё его матери; его давний друг, полицейский врач Аким Фомич Зарецкий, которому Павел сказал об этом однажды за третьей рюмкой; и сам Павел. Уле он не говорил. Покупателям тем более. Аптекарь, который варит людям сны, а сам по ночам проваливается в чёрную пустоту без единой картинки, похож на повара, потерявшего вкус. Он может ещё готовить по памяти, по весу, по рецепту. Но ему нельзя об этом рассказывать.

Он пробовал свои настои. Пробовал чужие. Пробовал однажды самую крепкую основу, какую мог достать, – двойную, управскую, которую дают только для лечения тяжёлой бессонницы с разрешения врача. Ничего. Тьма, тишина, пробуждение. Будто кто-то закрыл за ним дверь и задвинул засов.

Зарецкий говорил, что это от горя. Что так бывает. Что когда-нибудь пройдёт.

Девять лет не проходило.

Вечер шёл своим ходом. В восемь пришёл приказчик от Барановых, булочников с Торговой, за успокоительным сбором для хозяйки; Павел отпустил ему сбор без основы, простой, на липе и пустырнике. В половине девятого заглянул сосед, часовой мастер с первого этажа, пожаловаться на сырость в подвале и спросить, не продаёт ли Павел средство от крыс. Павел не продавал, но посоветовал, где купить. В

девять явилась сама Евдокия Лемешева, вдова чиновника, худая, нервная, в заштопанных перчатках, за сном для сына-гимназиста. Мальчику пятнадцать лет, он перед экзаменами не спал третью неделю, и доктор прописал ему сноварный настой – самый простой, «тихий», без событий, просто чтобы голова отдохнула. Такие сны Павел варил десятками и мог бы варить с закрытыми глазами.

– Поляна, – сказал он Лемешевой, отдавая пузырёк. – Лето, трава, облака. Никого не будет. Он полежит в траве, посмотрит в небо, а утром встанет отдохнувшим. Три ночи подряд, потом перерыв.

– Спасибо вам, Павел Ильич. Он у меня такой... впечатлительный. Всё читает. Всё про путешествия. Ночами со свечой. Я уж прятала, прятала.

– Тогда пусть ему приснится, что он прочитал все книги до конца, – улыбнулся Павел. – Иногда это помогает.

В десять он закрыл аптеку.

Уля заперла входную дверь на два оборота, задвинула нижний засов, повесила на стекло табличку «Закрыто. Ночные заказы – через дворника». Погасила лампы в торговом зале, оставив одну, у кассы. Павел пересчитал выручку, записал в книгу, убрал деньги в железный ящик под прилавком. Всё было как всегда. Как вчера, как год назад.

– Павел Ильич, – сказала Уля, стоя уже в пальто, с платком на голове. – Можно спросить?

– Ты весь вечер спрашиваешь.

– Про основу. Вы правда спросите на складе? Про погреб?

– Спрошу, если повторится.

– А если не повторится?

Он посмотрел на неё внимательнее.

– Тебя это беспокоит?

Уля подумала, наклонив голову.

– Не знаю. Она пахла как Ворожа под мостом. Весной, когда лёд сходит. Знаете, когда стоишь на мосту, а снизу тянет холодом, и тиной, и чем-то ещё, как в церкви после службы, когда свечи потушили. Я этот запах с детства знаю. Мы в Заречье прямо над водой жили. Только откуда он в основе?

Павел пожал плечами.

– Склад стоит у реки. Бочки, может, на берегу держали. Река всё пропитывает. Иди домой, Уля. Тётке поклон.

– Тётке поклон, – повторила она серьёзно и вышла через заднюю дверь, во двор, где дворник Фрол уже раскуривал на ночь трубку.

Павел поднялся к себе. Квартира его была над аптекой: три комнаты и кухня, где хозяйничала Аграфена Лукинична. Кухарка уже спала, из-за её двери доносилось ровное, с присвистом дыхание. На столе в столовой ждал ужин, накрытый салфеткой: холодная телятина, хлеб, огурцы, графинчик. Павел поел стоя, не зажигая лампы, при свете уличного фонаря из окна. Выпил одну рюмку. Подумал о второй и не стал.

В спальне он разделся, лёг, натянул одеяло до подбород-

ка и долго смотрел в потолок. По потолку ходили тени от веток старого тополя, который рос под окном и который Павел каждую весну собирался спилить и каждую весну жалел. Тени были похожи на руки. Девять лет назад он об этом не думал.

На комоде у кровати стояла фотографическая карточка в простой деревянной рамке. Молодая женщина в светлом платье, с высокой причёской, сидела вполоборота на садовой скамейке и смотрела не в аппарат, а куда-то вбок, будто её окликнули. В руках она держала фонарь – старинный, кованый, с зелёными стёклами. Фотограф, помнится, долго уговаривал её этот фонарь убрать, говорил, что он «не к месту, сударыня, это ведь не вечер». Вера рассмеялась и ответила, что фонарь всегда к месту, потому что вечер рано или поздно наступает.

Павел повернулся на бок, спиной к карточке, и закрыл глаза.

Тьма пришла сразу. Без картинок, без звуков, без падения. Только где-то на самом её краю, так далеко, что он не был уверен, что это не померещилось, на мгновение потянуло холодом и тиной, как с моста весной, когда сходит лёд.

А потом не было ничего до утра.

Он проснулся в седьмом часу от того, что внизу кто-то колотил в заднюю дверь кулаком, а Аграфена Лукинична, шаркая, шла по коридору и бормотала молитву вперемешку с бранью. Павел сел на кровати. Сердце билось быстро и тя-

жело, как бывает, когда тебя будят посреди глубокого сна.

– Павел Ильич! – кричали внизу. – Павел Ильич, ради Христа! Барыня! Барыня наша!

Он узнал голос. Это был Тихон, старый приказчик Клыковых, тот, что третий год водил Мавру Сидоровну под руку в церковь и обратно.

Павел натянул брюки, накинул халат прямо на ночную сорочку и побежал вниз, босиком по холодным ступеням, и уже на середине лестницы понял, что знает, что сейчас услышит. Знает – и не может знать. Так не бывает. Тихий летний сон, сад на Хлебной, самовар. Он варил такие сотнями.

Аграфена Лукинична отодвинула засов. Тихон ввалился в кухню, мокрый от утренней мороси, без шапки, с белым лицом.

– Пропала, – выговорил он, хватаясь за косяк. – Барыня пропала. Дверь в спальню на ключе, ключ изнутри. Окно на задвижке. А её нету. Постель тёплая, батюшка. Тёплая постель. А её нету.

Глава 2. Пустая постель

Дом Клыковых на Хлебной улице стоял в глубине двора, за лавкой с вывеской «Мука, крупа, масло. Клыков и сын». Двухэтажный, каменный низ, деревянный верх, с резными наличниками и с садом позади, в котором, как Павел знал из вчерашнего разговора, стоял стол под старой яблоней и где по вечерам при жизни хозяина ставили самовар.

Когда Павел и Тихон вошли во двор, там уже толпились: кухарка в переднике, двое молодцов из лавки, соседская девчонка с ведром, которое она так и забыла поставить, и городовой в мокрой шинели. Городовой преградил Павлу дорогу.

– Не велено. Ждём следователя.

– Я аптекарь. Госпожа Клыкова вчера была у меня.

Городовой посмотрел на него с интересом, какого Павел предпочёл бы не вызывать.

– Тем более не велено. Стойте здесь. Его высокоблагородие сейчас будут.

Павел встал у крыльца. Тихон рядом с ним бормотал, ни к кому не обращаясь, что он с вечера слышал, как барыня ходила, а потом затихла, а утром Дашка понесла ей воду умываться, стучала, стучала, а никто не отвечает, и тогда позвали молодого хозяина, Никанора Никифоровича, и тот велел ломать, и сломали, а там... Он замолкал на этом «а там» и начинал снова.

Молодой хозяин, Никанор Клыков, вышел на крыльцо. Ему было лет тридцать, он был в жилете без сюртука, с расстёгнутым воротом и с таким лицом, будто ещё не решил, гневаться ему или плакать. Он увидел Павла и решил.

– Вы! – сказал он, спускаясь со ступенек. – Вы её опоили! Это ваша отрава!

– Никанор Никифорович...

– Я ей говорил! Я ей говорил, что не надо этих ваших снов, что отца не вернёшь, что грех это! А она: «хоть посмотрю». Посмотрела! Где она теперь? Где?

Городовой оттеснил его плечом, не грубо, но твёрдо.

– Сударь, не надо. Следователь разберётся.

В воротах показалась пролётка. Из неё вышел высокий худой человек в тёмном пальто и в форменной фуражке судебного ведомства. Он заплатил извозчику, не торгуясь, огляделся – быстрым, цепким взглядом, будто снимал с двора отпечаток, – и пошёл к крыльцу. Лицо у него было узкое, бледное, с тяжёлыми веками и коротко подстриженными тёмными усами. Он двигался так, как двигаются люди, которые давно не высыпаются и привыкли не обращать на это внимания.

– Туманов, – представился он, ни к кому в частности не обращаясь. – Судебный следователь первого участка. Где спальня?

– Наверху, ваше высокоблагородие, – доложил городовой. – Никто не входил, как вы велели. Только молодой хозяин и

прислуга, когда дверь ломали.

– Кто этот человек?

– Аптекарь. Говорит, барыня у него вчера была.

Туманов повернулся к Павлу и посмотрел на него так же, как только что смотрел на двор.

– Остужев? «Сова и ступка»?

– Да.

– Слышал. Сноварное свидетельство?

– С восемьдесят первого года.

– Пойдёте со мной. Ничего не трогать. Отвечать, когда спрошу.

Спальня Мавры Сидоровны была на втором этаже, в конце коридора, оклеенного обоями с розами. Дверь висела на одной петле, замок был выломан вместе с куском косяка. Туманов остановился на пороге и долго смотрел, не входя.

Павел смотрел вместе с ним.

Это была самая обычная спальня пожилой купеческой вдовы. Широкая кровать красного дерева с горой подушек в кружевных наволочках. Киот в углу с зажжённой лампадой. Комод, на нём шкатулка, пудреница, фотографическая карточка покойного Никифора Лукича в бархатной рамке, рядом – маленький тёмный пузырёк. Кресло, на кресле аккуратно сложенное чёрное шёлковое платье. Окно с двойными рамами, наглухо закрытое, на шпингалете. Тяжёлые шторы задёрнуты не до конца, и в щель между ними пробивался серый утренний свет.

Одеяло на кровати было откинуто. Простыня смята. Подушка хранила вмятину от головы.

– Кто первый вошёл? – спросил Туманов, не оборачиваясь.

– Я, – ответил из коридора Никанор Клыков. – Я и Тихон.

– Что увидели?

– То же, что вы видите. Пусто. Её нет. Я под кровать заглянул, в шкап. Тихон на чердак бегал. В саду смотрели, в погребе. Нету.

– Ключ?

– В замке был. Изнутри. Мы его, когда ломали, выбили, он вон там, на полу.

Туманов присел на корточки, не входя в комнату, и посмотрел на пол. Ключ лежал у ножки комода. Туманов поглядел на него, потом на окно, потом на кровать. Потом встал, сделал два шага внутрь, по самому краю ковра, и положил ладонь на простыню.

– Тёплая, – сказал он без выражения.

– Я же говорил, – прошептал Тихон.

– Сколько прошло с того, как дверь сломали?

– Около часа, ваше высокоблагородие.

Туманов убрал руку и некоторое время рассматривал свою ладонь, будто ждал, что на ней что-то останется.

– Через час постель не бывает тёплой, если в ней никого нет, – сказал он. – Она остывает за четверть часа. В худшем случае за полчаса, если перина пуховая. Здесь пуховая. Зна-

чит, кто-то лежал тут не больше получаса назад. А дверь ломали час назад. Кто-нибудь входил в комнату после того, как её сломали, и ложился в постель?

Молчание.

– Я спрашиваю серьёзно.

– Нет, ваше высокоблагородие, – сказал Никанор. – Кто ж ляжет в барынину постель?

– Тогда либо постель врёт, либо вы, – сказал Туманов всё тем же ровным голосом и повернулся к Павлу. – Это ваше?

Он указал на пузырёк на комоде.

Павел подошёл ближе, тоже по краю ковра, как Туманов, и посмотрел. Пузырёк тёмного стекла, ярлычок, его почерк. «Г-же Клыковой. Сон летний, сад на Хлебной». Воск со горлышка снят, пробки нет. Пузырёк пуст.

– Моё.

– Что в нём было?

– Сноварный настой. Сон по заказу. Сад за домом, вечер, самовар, покойный муж. Обычный сон утешения. Таких я варю по десятку в месяц.

– Что в составе?

– Липа, чабрец, душица, мята полевая, яблоневый лист, лунная вода, частица госпожи Клыковой – её волос, отвар на пуговице покойного, основа управского завода.

– Основа – это что?

– Связующее вещество. Без него травы не дают сна. Продаётся только через Сноварную управу.

– Что в ней?

– Не знаю.

Туманов поднял бровь.

– Вы двадцать лет варите сны и не знаете, из чего ваше главное вещество?

– Состав основы – тайна управы. Это записано в уставе. Аптекарям его не открывают.

– Удобно, – заметил Туманов. – Мог ли ваш настой стать причиной того, что пожилая женщина ушла из запертой комнаты через запертое окно, не потревожив задвижку?

Павел помолчал, подбирая слова.

– Мой настой мог вызвать у неё сон. Яркий, тихий, приятный. Мог вызвать слёзы, если сон её растрогал. Мог вызвать тяжесть в голове утром. Если бы я ошибся в мере, мог бы вызвать долгий сон, на сутки. Ни один настой, о котором я знаю, не делает так, чтобы человек проходил сквозь стены.

– А о каких вы не знаете?

– О них я, по определению, не знаю.

Туманов посмотрел на него внимательно, и Павлу показалось, что в уголке его рта на мгновение мелькнуло что-то вроде усмешки. Но, может быть, только показалось.

– Я заберу пузырёк, – сказал следователь. – Платок, ключ, наволочку. – Он повернулся к городовому, стоявшему у двери. – Пиши. Сегодня, такого-то числа, в спальне вдовы купца Клыковой обнаружено следующее...

Пока городовой, слюнявя карандаш, писал, Павел стоял у

комода и смотрел на кровать. На откинутом одеяле, у самого края, лежала перламутровая пуговица с обломанным краем. Видимо, Мавра Сидоровна положила её с собой, рядом с подушкой, чтобы во сне муж пришёл наверняка. Пуговица упала, когда откинули одеяло.

Ещё он заметил, что ковёр у кровати влажный.

Пятно было небольшое, с ладонь, неровное, вытянутое, как след босой ноги. Если бы не свет из щели между шторами, падавший как раз на это место, его можно было бы не увидеть. Павел наклонился. Пахло сыростью. Не просто водой, а тем самым, о чём вчера говорила Уля: холодом, тиной, чем-то церковным, как от погашенных свечей.

– Господин следователь.

Туманов обернулся. Павел указал на пятно. Следователь подошёл, присел, потрогал ворс кончиками пальцев, понюхал их. Лицо его не изменилось.

– Вода, – сказал он.

– Речная, – поправил Павел. – И не из колодца, и не из самовара. Чуете? Тина.

– Окно закрыто. Дождя внутри не было. Вчера госпожа Клыкова ходила по саду?

– Она весь день сидела у меня и в церкви, – сказал Никанор из коридора. – В сад не выходила, сыро.

– Пиши, – бросил Туманов городовому. – На ковре у кровати мокрое пятно размером с ладонь, запах речной воды.

Потом они спустились вниз, в гостиную, и Туманов допра-

шивал Павла около часа, сидя за круглым столом под люстрой, ни разу не повысив голос и ни разу не поблагодарив за ответ. Он спросил, давно ли Павел знает Клыкову (полгода, с тех пор как она пришла в первый раз). Сколько раз она заказывала сны (это был третий; первые два были простые, «тихие», для сна, а этот – первый, где был муж). Не жаловалась ли она на что-нибудь (на сына, на приказчиков, на цены на гречу, на здоровье – нет). Не высказывала ли намерения уйти из дома, в монастырь, к родне, куда-нибудь (нет). Не получала ли писем (Павел не знал). Не было ли у неё долгов, ссор, тайного покровителя (Павел посмотрел на следователя так, что тот впервые за весь допрос опустил глаза в бумаги).

Потом Туманов спросил:

– Вы вчера говорили ей что-нибудь о том, что сон может её не отпустить?

Павел вздрогнул.

– Нет. С чего бы мне такое говорить?

– Её сын сказал, что она вечером, за ужином, будто бы обмолвилась: «Аптекарь велел ночью не вставать, а то сон вернётся». Это ваши слова?

– Мои. Я так говорю всем. Если человек просыпается посреди сноварного сна, ему не надо вставать, нужно полежать, и сон вернётся, и закончится как следует. Если встать, ничего страшного не будет, только голова потом болит.

– А если сон вернётся и не закончится?

– Сны заканчиваются, – сказал Павел. – Все.

– Все?

Павел помолчал.

– Все сны одного человека.

Туманов отложил карандаш и откинулся на спинку стула.

– Вот это мне интересно, – сказал он. – Я про ваше ремесло знаю немного. Знаю, что есть устав. Знаю, что есть правило. Что нельзя варить на двоих. Объясните, почему.

Павел объяснил – так же, как вчера объяснял Уле, про воду в ладонях, про место, которое может удержать. Туманов слушал не перебивая. Когда Павел закончил, он долго молчал, глядя в окно, где по стеклу ползли капли.

– Вы в это верите? – спросил он наконец.

– В правило?

– В то, что сон может стать местом. Что человек может в нём потеряться. Телом, я имею в виду. Не душой, не рассудком. Телом. Чтобы постель осталась тёплой, а человек исчез.

– Я никогда такого не видел.

– Я не спросил, видели ли вы. Я спросил, верите ли.

Павел посмотрел ему в глаза.

– Девять лет назад, – сказал он медленно, – у меня пропала жена. Она тоже была сноварка. Её не нашли. Через полгода на берегу Ворожи нашли её шаль, и полиция записала, что она утонула. Тела не было. Если вы спрашиваете, верю ли я, что человек может исчезнуть из запертой комнаты, оставив тёплую постель, то я не знаю, во что я верю, господин следователь. Я девять лет об этом думаю.

Туманов не ответил. Он что-то записал в книжку, коротко, в одну строку, и закрыл её.

– Вы свободны, – сказал он. – Пока. Из города не уезжайте. Аптеку не закрывайте, работайте как обычно. Если придут другие клиенты с подобными жалобами – немедленно ко мне, в участок на Соборной. Книгу заказов я пришлю забрать. Нет, лучше сам зайду. Сегодня, к вечеру.

– Книга нужна мне для работы.

– Значит, вам придётся работать по памяти. – Туманов поднялся. – Остужев.

– Да?

– Ваша жена. Как её звали?

– Вера Андреевна.

– Она знала состав основы?

Павел замер в дверях.

– Почему вы спрашиваете?

– Потому что вы о ней заговорили, – сказал Туманов. – А люди на допросе редко заговаривают о том, о чём их не спрашивают, если это не важно. Я запомню. Идите.

Павел вышел во двор. Дождь усилился. Тихон стоял под навесом у ворот и курил дешёвую самокрутку, держа её неумело, по-мальчишечьи, – видно было, что курит он впервые за много лет. Он посмотрел на Павла мокрыми, красными глазами.

– Найдут? – спросил он.

– Не знаю, Тихон.

– Она ведь ничего худого не хотела. Мужа только увидеть. Она ему, знаете, что хотела сказать? Что я, Тихон, при ней остался, не ушёл. Что я её под руку вожу. Она его просить хотела, чтобы он на меня не сердился. Мы ведь с ним, с покойником, поругались перед смертью, из-за счетов. Она хотела, чтобы помирил нас. Во сне.

Павел ничего не ответил. Что тут ответишь.

– Вы, Тихон, вот что, – сказал Павел, помолчав. – Вспомните, не говорила ли она вчера чего-нибудь странного. Перед сном. Может, кому из прислуги. Про то, что видела или слышала.

Старик задумался, шевеля губами.

– Дашка сказывала, – проговорил он нерешительно, – что барыня, как настой выпила, велела ей лампаду поправить. А потом, уже из-под одеяла, спросила: «Дашка, а что это у нас лестницей пахнет?» Дашка не поняла. Какой, говорит, лестницей, барыня? А барыня засмеялась тихонько и говорит: «Каменной. Мокрой. Как в погребе у тятеньки, в Заречье, когда я девчонкой была». И заснула. Дашка ещё подумала, что барыня уже во сне говорит.

– Лестницей, – повторил Павел.

– Так и сказала. Я следователю не говорил, он не спрашивал, а Дашка его боится, она и вовсе язык проглотила. Это важно, батюшка?

– Не знаю, Тихон. Скажите ему сами. Сегодня же. Скажите, что я велел.

Тихон кивнул, бросил окурок в лужу и долго смотрел, как тот размокает.

Он вышел на Хлебную и пошёл пешком, хотя до Солодовой было далеко, через Торговую площадь и мост. Шёл под дождём, без зонта, подняв воротник, и думал о пятне на ковре. О запахе. О погребной основе в новой склянке. О том, что Уля почуяла этот запах ещё вчера, а он – нет. О том, что в той же склянке осталось ещё девять десятых основы. О том, что из этой склянки он вчера отмерил основу ещё для одного сна.

Для Кости Лемешева. Поляна, лето, трава, облака. Три ночи подряд.

Он остановился посреди моста так резко, что на него налетела баба с корзиной и выругалась. Он не обратил внимания. Внизу, под мостом, Ворожа несла мутную осеннюю воду, и от воды тянуло холодом, и тиной, и ещё чем-то, что он не мог назвать.

Потом он пошёл дальше, быстро, почти бегом. Лемешевы жили на Почтовой, в доходном доме Рыкова, на третьем этаже. Павел знал адрес, потому что записывал его в книгу.

Когда он, мокрый, задыхаясь, взбежал на третий этаж и постучал, дверь открыла сама Евдокия Лемешева, в капоте, с папильотками в волосах.

– Павел Ильич? Господи, что случилось?

– Костя, – выдохнул он. – Как Костя спал?

Она растерянно моргнула.

– Хорошо спал. Как убитый. Первый раз за три недели. Утром встал, позавтракал, в гимназию ушёл. Весёлый. Сказал, что видел поляну. А что?

Павел прислонился к косяку и закрыл глаза. Сердце колотилось у самого горла.

– Ничего, – сказал он. – Ничего. Простите. Я... проверяю. Новая партия основы. Хотел убедиться.

– Ой, вы такой внимательный, – умилилась вдова. – Хотите чаю? Вы же мокрый весь.

– Нет, спасибо. Дальше. Мне дальше.

Он уже спускался, когда она крикнула ему вслед, перегнувшись через перила:

– Он только одно сказал странное! Что на краю поляны была лестница! Белая! Вниз, прямо в траве! Но он не пошёл, сказал, что вы велели лежать и смотреть на облака!

Павел остановился на площадке второго этажа и долго стоял, держась за перила, пока внизу не хлопнула дверь парадного и кто-то не стал подниматься ему навстречу.

Глава 3. Белая лестница

По лестнице поднималась Уля. Она была без платка, волосы потемнели от дождя и прилипли ко лбу, в руке она держала что-то завёрнутое в клеёнку. Увидев Павла, она остановилась на две ступеньки ниже и задрала голову.

– Я так и знала, что вы сюда, – сказала она, переводя дух. – Аграфена Лукинична сказала, что вы с Тихоном к Клыковым ушли, а я пришла к Клыковым, а там городовой, и он говорит, что аптекарь пошёл пешком, а куда – не сказал. А я подумала: куда бы я пошла? К Лемешевым. Костя жив?

– Жив. В гимназии.

Уля выдохнула так, что плечи у неё опустились.

– Слава богу. А Мавра Сидоровна?

– Пропала.

– Совсем?

– Совсем. Из запертой комнаты.

Уля помолчала и протянула ему свёрток.

– Я склянку принесла. Ту, вчерашнюю. Подумала, что если придут из полиции, то заберут, а нам надо самим посмотреть. Я её в клеёнку, чтобы не пахло на улице.

Павел взял свёрток и долго держал его в руках, не разворачивая. Потом поднял глаза на ученицу.

– Ты молодец, – сказал он. – Только больше так не делай.

– Как?

– Не бегай одна по городу с этим.

– А с кем мне бегать? Вы же убежали.

Он не нашёлся, что ответить.

Они вернулись на Солодовую на извозчике. Павел заплатил вдвое, чтобы ехать быстрее, и всю дорогу держал склянку на коленях, как держат больного ребёнка. Уля сидела рядом, смотрела на мокрые крыши и молчала. Только у самого моста сказала, не поворачивая головы:

– Это ведь не настой. Это основа.

– Почему ты так думаешь?

– Потому что настой вы варили как всегда. Я весь вечер смотрела. Всё как всегда. Липа, чабрец, капли. Если бы вы ошиблись, я бы заметила. А основа пахла не так.

– Это мог быть просто запах.

– Мог, – согласилась она. – Но вы так не думаете. Иначе бы к Лемешевым не побежали.

Аптеку Павел не открыл. Повесил на дверь табличку «По болезни хозяина закрыто до вечера», запер засов и прошёл с Улей в лабораторию. Аграфена Лукинична принесла им горячего чаю и бутербродов, посмотрела на мокрого хозяина, ничего не сказала и только перекрестила его в спину, уходя.

В лаборатории было холодно и сумрачно. Павел зажёг лампу, разжёг маленькую чугунную печку в углу, придвинул к столу второй табурет. Развернул клеёнку. Склянка зелёного стекла стояла на столе – пузатая, с обломками сургуча на горлышке и с бумажной этикеткой, на которой типограф-

ским шрифтом было отпечатано: «Сноварная управа губернского города Звенца. Основа сонная, простая. Завод за рекой». И ниже, чернилами, от руки: номер партии и дата.

– Сорок седьмая партия, – прочла Уля. – Месяц назад.

– Посмотри в книгу. Когда мы её получили?

Уля полистала книгу прихода, которую, к счастью, держали отдельно от книги заказов.

– Две склянки сорок седьмой партии пришли в начале месяца. Первую вы открыли... – она провела пальцем по строчке, – девятнадцать дней назад. Вторую – вчера.

– Из первой кому варили?

Уля стала читать вслух, медленно, ведя пальцем по строчкам. Список был длинный: за три недели из первой склянки ушло на четырнадцать заказов. Тихие сны, сны для отдыха, два сна-утешения, один «весёлый» для хозяйки шляпной мастерской, которая хотела во сне потанцевать на балу. И среди прочих – второй тихий сон для Мавры Сидоровны Клыковой, двенадцать дней назад.

– Она ничего не говорила? – спросил Павел. – Когда приходила вчера?

– Вам – нет. Мне... – Уля нахмурилась, вспоминая. – Мне она сказала, пока вы в лаборатории были: «А у твоего хозяина в прошлый раз луг был с причудой». Я спросила, с какой. А она засмеялась и говорит: «Лесенка там была. Как в сказке. Я, говорит, по ней не пошла, побоялась». Я подумала, что это просто так. Что ей приснилось. Ну, сны же меняются, вы

сами говорили, что люди своё добавляют.

– Добавляют, – сказал Павел. – Только Костя Лемешев тоже добавил лестницу. Белую. Вниз.

Уля побледнела.

Павел взял с полки чистую фарфоровую чашку, налил в неё воды из графина, кипячёной, остывшей. Потом взял стеклянную палочку, обмакнул её в основу и стряхнул одну каплю в воду.

Капля упала, как падала всегда: тяжело, медленно, вытянувшись, словно сама не хотела отрываться от палочки. Обычная основа в воде расходилась облачком, мутным, золотистым, похожим на дым над самоваром, а через минуту оседала на дно ровным тонким слоем. Эта сделала по-другому. Она ушла на дно, не расплываясь, и уже там, на дне, начала медленно разворачиваться спиралью. Спираль поднималась вверх, виток за витком, тонкая, как нитка, и каждый виток был чуть шире предыдущего.

– Как лестница, – прошептала Уля. – Винтовая.

– Вниз, – сказал Павел. – Смотри. Она не вверх идёт. Смотри на верхний виток.

Верхний виток спирали не доходил до поверхности. Он загибался внутрь и уходил обратно, к центру, и там, в самом центре, на дне, была маленькая тёмная точка, к которой стремилась вся спираль.

Они смотрели, пока спираль не растаяла, оставив на дне тот же тонкий слой, что и всегда. Потом Павел повторил

опыт со старой склянкой, сорок четвёртой партии, где ещё оставалось на донышке. Облачко. Дым. Ровный слой на дне.

– Понюхай, – сказал он.

Уля наклонилась над первой чашкой, потом над второй.

– Первая – погреб. Река. Ладан. Вторая – просто основа.

– Ладан ты уверена?

– Ну, не совсем ладан. Как в церкви, когда потушили свечи. Воск и дым. И ещё что-то сухое, пыльное. Как от моли, когда старую шубу из сундука достаёшь.

– Моль, – повторил Павел и записал на клочке бумаги: «Погреб. Речная вода. Погашенные свечи. Пыль, как от моли».

Он долго смотрел на эту запись. Потом взял лупу и стал рассматривать капли основы на стёклышке, поворачивая его под лампой. В обычной основе были видны только мелкие пузырьки воздуха и светлые прожилки. В этой, если смотреть очень долго и под определённым углом, в глубине вспыхивали крошечные искорки, серые, переливчатые, похожие на пыльцу с крыльев бабочки.

– Это не наше, – сказал он наконец. – Не наше и не завода. Основу так не варят. В неё что-то добавили.

– Кто?

– Не знаю.

– Зачем?

– Не знаю, Уля.

Он отодвинул стёклышко и потёр глаза.

Потом он достал чистый лист и переписал на него из книги всех, кому за последние девятнадцать дней варил из сорок седьмой партии. Четырнадцать фамилий из первой склянки и две из второй: Клыкова и Лемешев. Против каждой фамилии он поставил адрес.

– Фрол грамотный? – спросил он.

– Читает по складам, – сказала Уля. – А что?

– Мне нужно знать, как они спали. Все. Сегодня же. Я не могу ходить сам, меня ждёт следователь. Возьми Фрола, разделите улицы. Заходите и спрашивайте: хорошо ли спали после настоя, не снилось ли чего, кроме заказанного. Особенно – лестницы. Если кто скажет «да» – записывайте слово в слово. Ничего не объясняйте. Говорите, что аптекарь проверяет новую партию.

– А если спросят, опасно ли?

Павел помолчал.

– Скажи, что пока никто не знает. И что настоев больше пить не надо. Ни моих, ни чужих.

Уля ушла с листом, и вернулась только через три часа, с покрасневшими от ветра щеками и с исписанной на обороте страницей. Фрол обошёл Заречье и Подгорье, она – Торговую сторону и Соборную. Двенадцать человек спали хорошо, видели то, что заказывали, ничего лишнего не помнили. Шляпница танцевала на балу и хотела ещё. Двое – старик-лавочник с Гончарной и девица из белошвейной мастерской – сказали, что «на краю было что-то белое, вроде ступенек»,

но вниз не смотрели и внимания не обратили.

– А четырнадцатый? – спросил Павел.

Уля посмотрела в свои записи.

– Пухов, Ардальон Петрович. Писец казённой палаты, Ямская, дом Сысоевой. Хозяйка сказала, что жилец со вчерашнего вечера из комнаты не выходит и на стук не отвечает. Она думала, он запил. Он, говорит, иногда запивает, когда жалованье задерживают. Я хотела подняться, а она не пустила. Сказала, что сама утром посмотрит.

Павел взял у неё лист и долго смотрел на фамилию.

– Утром, – сказал он. – Утром.

К вечеру, как и обещал, пришёл Туманов. Он пришёл не один: за ним шёл тот же городовой с мокрой шинелью, неся под мышкой папку. Павел открыл им заднюю дверь.

– Книга заказов, – сказал Туманов вместо приветствия.

Уля молча подала книгу. Туманов принял её, полистал, будто взвешивал, и передал городовому.

– Опишешь в участке. Каждую страницу. С фамилиями. – Городовой ушёл. Туманов остался стоять посреди кухни в мокром пальто, и Аграфена Лукинична, не спрашивая, поставила перед ним стакан горячего чаю. Он посмотрел на стакан с некоторым удивлением, потом снял фуражку и сел.

– У меня к вам разговор, – сказал он Павлу. – Не допрос. Пока не допрос.

– У меня тоже, – сказал Павел.

– Начинайте.

Павел рассказал ему про основу. Про сорок седьмую партию, про запах, про спираль. Туманов слушал, держа стакан обеими руками и не отпивая. Когда Павел предложил показать опыт, следователь кивнул, и они прошли в лабораторию. Спираль развернулась снова, точно так же, виток за витком, к тёмной точке на дне. Туманов смотрел на неё молча, с тем же каменным лицом, что и утром в спальне Клыковой, но Павел заметил, что пальцы его, лежащие на краю стола, побелели от напряжения.

– Это может быть подделкой, – сказал Туманов, когда спираль растаяла. – Вы могли сами что-то подмешать.

– Мог.

– Зачем бы вы мне это показывали?

– Чтобы вы искали не там, где ищете.

– А где я ищу?

– У меня.

Туманов хмыкнул.

– Я ищу везде, Остужев. Это моё ремесло. – Он полез во внутренний карман пальто и вынул оттуда маленькую книжку в коленкоровом переплёте, перевязанную выцветшей лентой. – Это дневник госпожи Клыковой. Нашли в комоде, под бельём. Она его вела три года, с тех пор как овдовела. Пишет мало, но аккуратно. Почти каждый день. Почерк скверный, грамоты мало, но прочесть можно. Читайте. Вот отсюда.

Он раскрыл книжку на закладке – засушенном листке подорожника – и подвинул к Павлу.

Почерк действительно был скверный, крупный, с наклоном в разные стороны, с пропущенными буквами. Но Павел читал его без труда, потому что за двадцать лет привык разбирать рецепты, написанные куда хуже.

«Двенадцатого. Ходила к аптекарю Остужеву, взяла тихий сон, второй. Пила. Видела луг, как он обещал. Хорошо было, тепло, пчёлы гудели. А на краю луга, где лес, лестница вниз. Белая, каменная. Ступеньки мокрые, как после дождя. Внизу огни, много, как в городе ночью, если с горы смотреть. И женщина стоит на ступеньке, не на верхней, а пониже. В руке фонарь. Зелёный. Махала мне. Я не пошла. Страшно. Проснулась – подушка мокрая, а я не плакала. Никиша, если ты там, позови меня сам».

«Тринадцатого. Голова болела до обеда. Никанор опять кричал из-за сукна».

«Пятнадцатого. Снилась лестница. Без настоя. Сама. Женщина опять махала. Ближе стоит. Лица не видно, свет от фонаря в глаза».

«Восемнадцатого. Опять лестница. Я на верхней ступеньке стою. Внизу кто-то поёт, как в церкви на Пасху. Хорошо поют. Женщина сказала: тебя ждут на нижней площадке. Я спросила: Никиша ждёт? Она не ответила. Улыбнулась».

«Двадцать первого. Пойду к Остужеву за сном с Никишей. Пусть он сам меня позовёт. Если он позовёт, спущусь. Если нет, не спущусь. Господи, помилуй меня, дуру старую».

Последняя запись была сделана вчера, другими чернила-

ми, видимо, поздно вечером. Буквы плясали ещё сильнее.

«Пила. Лягу сейчас. Лестницей пахнет в комнате. Никиша, жди».

Павел закрыл книжку и долго сидел, положив на неё ладонь.

– Она видела этот сон без настоя, – сказал он наконец. – Три раза. После одного приёма. Такого не бывает. Настой действует одну ночь. Самый крепкий – две. Сон не может возвращаться сам.

– Значит, может, – сказал Туманов. – Или она сошла с ума и ушла ночью из дома через окно, которое потом закрылось само. Выбирайте, что вам больше нравится.

– Мне ничего не нравится.

– Мне тоже. – Следователь взял дневник, перевязал лентой и убрал в карман. – Вы сказали, что мальчишка Лемешевых тоже видел лестницу.

– Да. Вчера. Первый раз.

– Он сегодня будет пить ваш настой?

– Я не знаю. Я сказал матери – три ночи подряд. Я не успел ей запретить.

Туманов встал.

– Тогда идёмте. Сейчас.

Они пошли вдвоём, без городового, по мокрой Солодовой, через Торговую площадь, мимо закрывающихся лавок. Уля осталась в аптеке – Павел запретил ей идти, и на этот раз она подчинилась, хотя и смотрела ему вслед из окна с

выражением, которое не обещало ничего хорошего.

Евдокия Лемешева открыла дверь, уже не в капоте, а в тёмном платье, и испуганно уставилась на следователя в форменной фуражке.

– Костя ещё не пил? – спросил Павел с порога.

– Нет, он уроки делает, я ему перед сном...

– Не давайте. – Павел вошёл в прихожую, не дожидаясь приглашения. – Где пузырёк?

– В буфете. Павел Ильич, да что случилось?

– Принесите.

Она принесла. Пузырёк был полон на две трети. Павел взял его, взвесил на ладони и отдал Туманову. Тот спрятал его в карман пальто, рядом с дневником.

– Сударыня, – сказал Туманов, – вашему сыну больше нельзя принимать сноварные настои. Никакие. Ни от господина Остужева, ни от кого другого. Это распоряжение следователя. Если кто-то будет предлагать, сообщите мне. Если мальчик будет видеть дурные сны, сообщите мне. Если он скажет вам, что видел лестницу, сообщите мне в ту же минуту, днём или ночью, участок на Соборной, спросите Туманова.

Вдова прижала руки к груди.

– Господи. Да что же это. Отравили?

– Нет, – сказал Павел. – Нет, не отравили. Просто новая партия плохая. Я проверяю всех. Костя здоров?

– Здоров... Костя! Костенька!

Из дальней комнаты вышел мальчик – тощий, длинный, в гимназической куртке, с чернильным пятном на пальце и с книжкой, заложенной пальцем на середине. Лицо у него было живое, любопытное, с припухшими от недосыпа веками.

– Вы аптекарь, – сказал он Павлу. – Спасибо за поляну. Я хорошо выспался.

– Ты видел там лестницу?

Мальчик покосился на мать, потом на следователя, и Павел понял, что вопрос ему неприятен.

– Видел. На краю. Белая. Я не пошёл. Вы ведь сказали – лежать.

– Правильно сделал. А больше там ничего не было?

Костя помолчал.

– Там внизу кто-то стоял. На ступеньках. С фонарём. Я хотел рассмотреть, но она далеко. Женщина, кажется.

– Какого цвета фонарь?

– Зелёный, – сказал мальчик и вдруг улыбнулся. – Как бутылочное стекло. Знаете, когда на солнце бутылку смотришь, и всё такое зелёное становится. Красиво было.

Павел почувствовал, как пол под ногами качнулся.

Он попрощался, не помня, что сказал. На улице Туманов шёл рядом молча, засунув руки в карманы, и только у поворота на Соборную остановился.

– Зелёный фонарь, – сказал он. – Вы побелели, когда он это сказал. Почему?

Павел смотрел на мокрую мостовую, в которой отража-

лись фонари – обычные, жёлтые, городские.

– У моей жены был фонарь с зелёными стёклами, – сказал он. – Старинный. Она его любила. Она пропала вместе с ним.

– Есть ещё один, – сказал Павел. – Писец Пухов, Ямская улица. Пил из той же партии три недели назад. Со вчерашнего вечера не выходит из комнаты и не отвечает на стук. Хозяйка думает, что запил.

Туманов коротко выругался – впервые за весь день.

– Почему вы молчали?

– Я не молчал. Я узнал за час до вашего прихода. А вы сказали – сначала мальчик.

– Ямская далеко, – сказал Туманов. – Ночью я туда никого не пошлю, все городовые на пожаре в Подгорье. Утром, первым делом.

Туманов долго молчал.

– Завтра в десять, – сказал он наконец. – У меня в участке. Принесите обе склянки. И расскажите мне про вашу жену всё, что помните. С самого начала.

Он козырнул и ушёл в темноту, не оборачиваясь. Павел стоял на углу, пока не замёрз, а потом пошёл домой, и всю дорогу ему казалось, что за его спиной, на краю видимости, там, где кончается свет последнего фонаря, кто-то стоит и держит в руке зелёный огонёк.

Глава 4. Второй

Ямская улица начиналась у старой почтовой станции и тянулась вдоль оврага к городской заставе. Дома здесь были деревянные, серые, с покосившимися заборами и с огородами на задах; жили в них мелкие чиновники, отставные солдаты, ремесленники и вдовы, сдающие углы. Дом мещанки Сысоевой ничем не отличался от соседних, разве что был выкрашен когда-то в голубой цвет, от которого теперь остались только редкие пятна под карнизом.

Павел пришёл туда в восьмом часу утра, раньше Туманова. Он не спал всю ночь – вернее, лежал в темноте и ждал, не придёт ли к нему из той пустоты, в которую он проваливался девять лет, хоть что-нибудь: лестница, огни, зелёный свет. Не пришло ничего. Под утро он встал, оделся, выпил на кухне холодного чаю и ушёл, не дожидаясь, пока проснётся Аграфена Лукинична.

Хозяйка, Матрёна Сысоева, оказалась толстой, одышливой женщиной в стоптанных валенках и в двух платках, один на голове, другой на плечах. Она стояла у калитки с ведром помоев и смотрела на Павла с подозрением, как смотрят на всякого прилично одетого человека, явившегося на Ямскую в такую рань.

– Вам кого?

– Пухова. Ардальона Петровича.

– А вы кто ему будете?

– Аптекарь. Он у меня брал лекарство. Хотел узнать, как он.

– Аптекарь, – повторила Сысоева и вдруг поставила ведро на землю. – Это вы, значит, ему сонную отраву варили? Девчонка вчера ваша бегала, расспрашивала. Я ей сказала и вам скажу: не знаю, как он. Не выходит. Не отвечает. Я ему и щи под дверь ставила, и стучала – ничего. Запил, видать. Он, когда запивает, всегда тихий. Не буянит. Лежит и в потолок смотрит. Только раньше он хоть до ветру выходил.

– Вы заглядывали к нему?

– А как я загляну? Он на крючок запирается изнутри. Боится, что я у него бумаги стащу. Нужны мне его бумаги. – Она сплюнула. – Ждите, если хотите. Следователь, сказали, будет. Ко мне уж прибегали из участка, велели ничего не трогать.

Павел стал ждать у калитки. Минут через двадцать подъехала пролётка, но вышел из неё не Туманов, а другой человек – грузный, краснолицый, в шинели полицейского ведомства с погонами пристава, с роскошными, расчёсанными на обе стороны усами. За ним вылезли двое городовых.

– Так-так, – сказал пристав, оглядев Павла с головы до ног. – А вы, значит, и есть господин аптекарь. Остужев. Я про вас наслышан. Со вчерашнего вечера только о вас и слышу. Пристав Кузьмичёв, второй участок. Ямская – моя.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, здравствуйте. Что вы здесь делаете в такой час, господин Остужев?

– Жду следователя Туманова.

– Следователь Туманов, – сказал Кузьмичёв, – изволят быть заняты. А у меня тут жилец пропал, говорят. Так что я сам посмотрю. А вы пока постойте. Вон там. У забора. – Он махнул городовым. – Ломай.

– Может быть, дождаться...

– Господин аптекарь, – перебил пристав, и голос его стал медовым, – здесь мой участок, моя улица и мой жилец. Если он там лежит пьяный, я его подниму. Если он лежит мёртвый, я его оформлю. А если его там нет, как той купчихи, о которой весь город гудит, то я, знаете ли, задам вам пару вопросов. И уже не так, как господин Туманов задаёт. Вежливо. А по-нашему. Ломай, я сказал.

Городовые прошли в дом. Сысоева, охая, повела их по скрипучей лестнице наверх, в мезонин. Павел, вопреки приказу, пошёл следом. Пристав покосился на него, но промолчал.

Дверь была хлипкая, крючок внутри – тонкий, и сломалась она с первого удара плечом. Городовой ввалился в комнату и остановился так резко, что второй налетел на него сзади.

Комната была маленькая, с косым потолком, с одним окошком на огород. Узкая железная кровать, стол у окна, заваленный бумагами, этажерка с книгами, стул с вытертым

сиденьем. На гвозде у двери висел вицмундир казённой палаты, аккуратно, на плечиках, и под ним стояли начищенные сапоги. На столе – чернильница, перья в стакане, стопка писчей бумаги, придавленная пресс-папье в виде чугунного медведя. Всё было в образцовом порядке, каком редко бывает в комнате одинокого холостяка.

Кровать была пуста. Одеяло откинуто аккуратным треугольником, как откидывают, когда встают ночью по нужде, собираясь вернуться. Подушка взбита. Простыня даже не смята.

На полу у кровати темнели два пятна. Не одно, как у Клыковой, а два, рядом, вытянутые, с отпечатками пальцев, будто человек стоял здесь босиком в мокрых ногах и потом исчез вместе с ногами. Пятна высохли, но оставили на крашеных досках светлый налёт, тонкую корку ила, какая бывает на камнях у берега, когда вода спадает.

– Матерь божья, – сказала за спиной Сысоева и перекрестилась.

Кузьмичёв протолкался вперёд, оглядел комнату, заглянул под кровать, в угол за этажеркой, подёргал раму окна. Окно не открывалось – было заколочено на зиму двумя гвоздями, и гвозди сидели крепко, проржавев в дереве. Пристав выпрямился и повернулся к Павлу, и лицо у него было уже не медовое.

– Ну-с, господин аптекарь.

– Я его не видел три недели, – сказал Павел. – С тех пор

как он брал у меня тихий сон.

– А что ж вы тогда сюда пришли ни свет ни заря?

– Потому что тихий сон он брал из той же партии основы, что и госпожа Клыкова.

– Партии основы, – протянул пристав. – Слова-то какие. Партия основы. А может, это не в партии дело, господин аптекарь? Может, это в вас дело? Вы ведь, я слышал, вдовец? Жена у вас тоже, говорят, пропала? Лет десять назад?

– Девять.

– Девять. И тоже, говорят, тела не нашли. Шаль только. – Кузьмичёв подошёл ближе, так близко, что Павел почувствовал запах табака и вчерашней водки. – Нехорошо получается, господин аптекарь. Где вы – там люди пропадают.

– Пристав.

Голос раздался от двери, ровный и холодный. Туманов стоял на пороге, без фуражки, с мокрыми от мороси волосами, и смотрел на Кузьмичёва так, как смотрят на муху в тарелке.

– Господин следователь, – сказал пристав, не отступая. – А мы тут без вас начали.

– Я вижу. Вы сломали дверь, затоптали пол, впустили в комнату половину дома и допрашиваете свидетеля без протокола. По какому праву?

– По праву участкового пристава, Глеб Корнеевич. Ямская – мой участок.

– Дело Клыковой – моё дело. И всё, что с ним связано,

– тоже моё. Распоряжение прокурора окружного суда, вчерашнее, за подписью. Хотите – покажу. – Туманов не сделал ни одного движения, чтобы показать. – Освободите комнату. Городовых оставьте у двери. Хозяйку – вниз, я её допрошу позже. Господина Остужева я допрошу сам.

Кузьмичёв постоял ещё мгновение, покачиваясь на каблуках. Потом усмехнулся в усы.

– Как прикажете. Только я, господин следователь, своё мнение в рапорте изложу. Полицмейстеру. Что люди пропадают, а аптекарь гуляет. Чтоб потом не говорили, что пристав Кузьмичёв не предупреждал.

– Излагайте, – сказал Туманов.

Пристав вышел, задев Павла плечом, и тяжело затопал по лестнице. Сысоева, причитая, ушла за ним. Городовые встали в коридоре. Туманов закрыл за ними сломанную дверь, насколько она закрывалась, и повернулся к Павлу.

– Я просил вас прийти в участок к десяти.

– Я хотел увидеть сам.

– Увидели?

– Увидел.

Туманов подошёл к пятнам на полу, присел, потрогал корку ила, растёр между пальцами, понюхал.

– То же самое, – сказал он. – Только больше. И старше. Он ушёл не сегодня ночью. Позавчера, а может, и раньше. Ил успел высохнуть. Хозяйка говорит, что последний раз слышала его вечером в воскресенье, он ходил по комнате и что-

то бормотал. Значит, воскресенье. За сутки до Клыковой.

– Почему он? – спросил Павел. – Он пил настой три недели назад. Тихий сон, одну ночь. После него ничего у меня не брал.

– Клыкова тоже пила тихий сон один раз, а потом видела лестницу сама. Без вашего настоя. Три раза. – Туманов встал и подошёл к столу. – Посмотрим, что видел он.

Ардальон Петрович Пухов, писец казённой палаты, был человеком аккуратным. На столе у него лежали стопкой переписанные набело бумаги – служебные, взятые на дом для сверки, с казёнными печатями. Отдельно, в картонной папке, лежали его собственные записи. Туманов развязал тесёмки.

Это было что-то вроде дневника, но не такого, как у Клыковой. Пухов не писал о себе. Он вёл записи, как вёл бы опись имущества или реестр входящих бумаг: число, время, предмет, примечание. Почерк был безупречный – мелкий, округлый, писарский, с завитками у прописных букв.

«Седьмого числа. Принят сноварный настой (тихий сон, аптека Остужева). Видел луг. Спал девять часов. Отдохнул. Примечание: на краю луга белая лестница, ведущая вниз. Каменная. Ступени ровные, одинаковой высоты. Счёл неважным».

«Девятого числа. Без настоя. Видел лестницу. Стоял наверху. Насчитал до первого поворота сорок ступеней. Внизу, ниже поворота, огни. Примечание: огни ровные, не мерцают.

Не свечи. Не керосин. Что-то иное».

«Одиннадцатого числа. Лестница. Спустился до двадцатой ступени. Встретил женщину с фонарём. Фонарь кованый, стёкла зелёные. Лица не разглядел. Сказала: "Вас ждут, Ардальон Петрович. Там всё в порядке". Спросил: в каком порядке? Ответила: "В полном". Примечание: голос приятный, низкий».

«Четырнадцатого числа. Спустился до первой площадки. Сорок ступеней ровно. На площадке дверь, приоткрыта. За дверью – улица. Похожа на нашу Соборную, только чище. Фонари горят днём. Все окна светлые. Примечание: людей не видел, но слышал, как кто-то пишет пером. Скрип пера. Знакомый звук».

«Восемнадцатого числа. Был на улице за дверью. Прошёл до угла. Табличка: "Нижняя Соборная". Нашёл здание, похожее на нашу казённую палату. Вошёл. Там стол у окна. На столе бумаги. Все в порядке. Все сведены. Ни одной ошибки. Женщина сказала: "Это ваше место, если захотите". Примечание: очень хочу».

«Двадцатого числа. Столоначальник опять кричал, что я перепутал ведомость. Я не перепутал. Он сам перепутал и свалил на меня. Тридцать лет одно и то же».

«Двадцать второго числа. Женщина сказала, что за мной придут в воскресенье. Что не надо ничего брать. Что всё будет. Примечание: страшно. Примечание: не очень страшно».

Последняя запись была без даты.

«Ухожу. Бумаги палаты на столе, сверены, ошибок нет, прошу передать столоначальнику. Жалованье за этот месяц прошу отдать Матрёне Сысоевой в счёт долга за квартиру. Должен ей семь рублей сорок копеек. Простите, если что не так. А. П.»

Туманов дочитал, закрыл папку и некоторое время стоял неподвижно, глядя в окно на мокрый огород.

– Он знал, – сказал он наконец. – Он знал, что уйдёт. И приготовился. Сверил бумаги. Посчитал долг. Повесил вицмундир. Это не похищение, Остужев. Это не убийство. Это переезд.

– Куда?

– Вы мне скажите. Вы же сновар.

Павел молчал. Он смотрел на последнюю строчку – «Простите, если что не так» – и думал о том, что за три недели до этого маленький аккуратный человек стоял у его прилавка, мял в руках фуражку и стеснительно спрашивал, нельзя ли сон подешевле, потому что жалованье задерживают, а спать он не может, всё ведомости снятся. Павел отдал ему тихий сон за полтинник вместо рубля. Пухов благодарил так, будто ему подарили дом.

Подарили, подумал Павел. Подарили.

– Нижняя Соборная, – сказал Туманов. – Огни, которые не мерцают. Женщина с зелёным фонарём. Писарь думает о порядке – и ему показывают порядок. Купчиха думает о муже – и её зовут к мужу. Каждому своё. Кто-то знает, на

что их ловить.

– Сон всегда показывает то, чего хочет спящий, – медленно сказал Павел. – Это азбука ремесла. Мы варим сны, но не придумываем их до конца. Мы даём рамку, а человек сам наполняет её тем, чего ему не хватает. Если сон стал местом, место тоже будет знать, чего не хватает. Оно будет показывать это. Звать этим.

– Место не может знать.

– Обычное место – нет. А это может.

Туманов повернулся к нему.

– Ваша жена, – сказал он. – Вы обещали мне рассказать.

– Обещал.

– Тогда не здесь. – Следователь сунул папку под мышку. – Здесь сейчас будет фотограф, потом врач, потом снова Кузьмичёв со своими рапортами. Вам здесь быть не нужно. Идите домой. Я приду к вам вечером, после девяти. Закройте аптеку. Ученицу отпустите. Будем говорить вдвоём.

Павел спустился по скрипучей лестнице. Внизу, в сенях, на лавке сидела Сысоева и вытирала глаза концом платка.

– Он мне семь рублей был должен, – сказала она, не глядя на Павла. – Сорок копеек. Я его ругала за это. Каждую неделю ругала. А он мне на Пасху кулич приносил. Сам пёк, представляете? Писец, а пёк. Говорил, у матери научился. Вкусный был кулич.

Павел вышел на улицу. Возле калитки стоял пристав Кузьмичёв, курил папиросу и разговаривал с каким-то человеком

в сером пальто и в серой шляпе. Человек стоял спиной, и лица его Павел не видел, только заметил, что пальто у него дорогое, хорошего сукна, а в руке трость с костяным набалдашником. Когда Павел проходил мимо, человек в сером неторопливо повернулся к нему боком и, не глядя, приподнял шляпу. Потом пошёл к ожидавшей его закрытой карете, сел, и карета тронулась.

– Кто это был? – спросил Павел у Кузьмичёва, сам не зная зачем.

Пристав выпустил дым ему в лицо.

– А вам что за дело, господин аптекарь? Идите-ка домой. Пока я добрый.

Павел пошёл. На углу Ямской и Почтовой мальчишка-газетчик выкрикивал заголовок «Звенецкого листка», размахивая свежим номером:

– Купчиха пропала из запертой спальни! Сноварная отрава! Аптекарь на подозрении! Покупайте «Листок»!

Павел купил. На второй странице, под заметкой о пожаре в Подгорье, было напечатано мелким шрифтом: «Как стало известно нашему корреспонденту, вдова купца второй гильдии М. С. Клыкова, бесследно исчезнувшая в ночь на вторник, накануне посетила аптеку господина О., известного в городе сновара. По слухам, полиция подозревает, что причиной таинственного происшествия мог стать неудачно сваренный сноварный настой. Напоминаем читателям, что Сноварная управа губернского города Звенца строжайше следит

за соблюдением устава, и всякое нарушение карается лишением свидетельства».

Он сложил газету и сунул её в карман.

Дома его ждала Уля. Она сидела в лаборатории над чашкой с водой, в которой медленно разворачивалась очередная спираль, и что-то рисовала в тетради. Когда он вошёл, она подняла голову, и по его лицу всё поняла.

– Его нет, – сказала она.

– Его нет.

– Тоже лестница?

– Тоже. Он спустился до первой площадки. Сорок ступеней. Там дверь и улица. Нижняя Соборная.

Уля долго молчала. Потом повернула к нему тетрадь. На странице карандашом была нарисована спираль – та самая, из чашки, – и Уля, видимо, долго и терпеливо считала её витки, потому что рядом стояла цифра, обведённая несколько раз: сорок.

– Сорок витков до первого поворота, – сказала она. – Я считала три раза. Каждый раз сорок. Потом она загибается, и там дальше ещё, но я не могу разглядеть, слишком мелко.

Павел сел на табурет. Ноги не держали.

– Уля, – сказал он. – Я сегодня иду в Управу.

– Зачем?

– Затем, что основу варят там. Затем, что кто-то в неё что-то подмешал. Затем, что старшина Управы – мой учитель, и он единственный в городе, кто знает, из чего она сделана.

– А если это он подмешал?

Павел посмотрел на неё, и она смутилась, но взгляда не отвела.

– Это Ипполит Маркович, – сказал он. – Он учил меня двадцать лет назад. Он был на моей свадьбе. Он выхлопотал мне свидетельство, когда меня не хотели допускать из-за молодости. Он сидел со мной ночами, когда пропала Вера. Он не мог.

– Вы сами говорили, – тихо сказала Уля, – что сон показывает то, что человек хочет видеть.

Павел не ответил. Он встал, снял с крючка пальто, которое так и не успел толком повесить, и пошёл к двери.

– Закрой аптеку, – бросил он не оборачиваясь. – И не пей ничего, кроме воды из колодца. И к вечеру уходи домой. Ко мне придёт следователь.

– Павел Ильич!

Он остановился.

– Возьмите, – сказала Уля и протянула ему маленький пузырёк с притёртой пробкой. – Это вода из чашки. Со спиралью. Пусть он сам посмотрит. Ваш учитель. И скажет, что это.

Павел взял пузырёк, сунул во внутренний карман, к сердцу, и вышел.

Глава 5. Управа

Сноварная управа занимала старый двухэтажный особняк на Соборной площади, напротив собора и наискосок от здания губернского правления. Особняк когда-то принадлежал разорившемуся помещику, и над парадным крыльцом до сих пор сохранился его герб, полустёртый, с какой-то птицей и колосьями. Позже, когда управа выкупила дом, над гербом повесили медную доску с надписью, и птица оказалась как бы под надписью, придавленная ею, что звенецкие остряки находили символичным.

Павел бывал здесь много раз. Здесь он сдавал экзамен на свидетельство, здесь приносил клятву, положив руку на устав в чёрном кожаном переплёте, здесь каждый год платил пошлину и подписывал бумаги. Он знал, что на первом этаже – канцелярия, где сидят трое писцов, и приёмная, где на стенах висят портреты прежних старшин, суровых бородатых людей с одинаковыми, будто списанными друг с друга, взглядами. А на втором этаже, в конце коридора с вытертой ковровой дорожкой, – кабинет старшины.

Писец в приёмной, молодой, прыщавый, в нарукавниках, узнал его и вскочил.

– Павел Ильич! А мы как раз о вас... То есть... Ипполит Маркович велели сказать, если вы придёте, чтобы сразу к нему.

– Он меня ждёт?

– Велели сказать, – повторил писец, краснея, и Павел понял, что газету здесь уже читали.

Он поднялся по лестнице. Ковровая дорожка глушила шаги. Из-за дверей по обе стороны коридора не доносилось ни звука. Дверь в конце коридора была приоткрыта, и из неё тянуло табачным дымом – хорошим, сладким, турецким – и ещё чем-то, что Павел узнал не сразу: запахом свежей основы, тёплым, восковым, липовым.

– Входи, Павел, – сказали из-за двери. – Я слышу, как ты стоишь.

Ипполит Маркович Вельяминов сидел за широким письменным столом у окна. Ему было шестьдесят два года, но выглядел он моложе – прямой, сухой, с густыми седыми волосами, зачёсанными назад, с аккуратной белой бородкой и с удивительно светлыми, почти прозрачными серыми глазами, которые всегда казались немного влажными, будто старшина только что смеялся или вот-вот заплачет. Он был в тёмном сюртуке и, как всегда, в тонких серых перчатках из лайки. Перчатки он не снимал никогда – ни за столом, ни в лаборатории, ни на свадьбе Павла, когда поднимал бокал. Говорили, что у него на руках давний ожог от кипящей основы, ещё с молодости.

Кабинет был таким же, каким Павел его помнил. Книжные шкафы до потолка. Конторка у стены. Большой глобус на подставке. Чучело совы на шкафу – старое, облезлое, с

одним стеклянным глазом, другой выпал лет десять назад, и его так и не вставили. Когда-то, увидев эту сову, Павел и назвал свою аптеку «Сова и ступка», и Вельяминов тогда смеялся и говорил, что это лучший комплимент, какой ему делал ученик.

– Садись, – сказал старшина, указывая на кресло напротив. – Чаю? Или покрепче? Ты выглядишь так, будто не спал.

– Я не спал.

– Тогда покрепче. – Вельяминов открыл ящик стола, достал графинчик и две маленькие рюмки, налил. Перчатки при этом мягко поскрипывали. – За что пьём?

– Ни за что.

– Тоже верно. – Старшина выпил свою рюмку одним глотком, не поморщившись. – Ну, рассказывай. Я читал «Листок». Я, разумеется, не верю ни одному слову. Но хотел бы услышать от тебя.

Павел рассказал. Всё по порядку: Клыкова, тёплая постель, мокрое пятно на ковре, запах реки, дневник, Пухов, ил на полу, записи писаря, лестница в сорок ступеней, Нижняя Соборная, женщина с зелёным фонарём. Он рассказывал ровно, сухо, как рассказывают врачу симптомы, стараясь не пропустить ничего и не добавить ничего от себя. Вельяминов слушал, сцепив пальцы в перчатках на столе, и только один раз, когда Павел дошёл до зелёного фонаря, глаза его чуть сузились.

Потом Павел достал из кармана Улин пузырёк и поставил

на стол.

– Вода с основой из сорок седьмой партии, – сказал он. – Если капнуть каплю этой основы в чистую воду, она не расходится облаком, как обычная. Она закручивается на дне спиралью. Сорок витков до первого поворота. Потом поворот и вниз, к точке. Пахнет речной водой, погашенными свечами и чем-то вроде пыли от моли. Под лупой видны искры, серые, как пыльца с крыльев. Обычная основа так себя не ведёт. Я двадцать лет с ней работаю.

Вельяминов взял пузырёк двумя пальцами, поднёс к окну и долго рассматривал на свет. Потом поставил обратно. Лицо его было спокойно.

– Сорок седьмая партия, – повторил он. – Да. Знаю.

– Знаете?

– Знаю, что с ней неладно. Не знал, насколько. – Старшина встал и подошёл к окну, заложив руки за спину. – Месяц назад на заводе за рекой было подтопление. Ворожа поднялась от дождей, вода зашла в нижний погреб, где у нас стоят бочки для выдержки. Три бочки оказались подмочены. Мастер доложил мне, я велел их вылить. Он, видимо, вылил не все. Две склянки этой партии ушли в продажу, прежде чем я узнал. Теперь, выходит, больше двух.

– Подмоченная бочка не даёт спирали.

– Ты не знаешь, что даёт подмоченная бочка, – мягко сказал Вельяминов, не оборачиваясь. – Ты не знаешь, из чего сделана основа. Ты никогда не спрашивал. Я ценил это в

тебе, Павел. Ты всегда был хорошим учеником. Не задавал лишних вопросов.

Павел почувствовал, как у него холодеют пальцы.

– Сейчас я задаю.

– Я вижу. – Старшина повернулся. – И я отвечу тебе, насколько могу ответить, не нарушая устава. В основе есть речная вода. Особая. Её берут в одном месте Ворожи, в определённое время, и это всё, что я скажу. Если бочку подтопило, вода в ней стала другой – не той, что нужна, обычной речной, с илом, с тиной. Это могло исказить связь. Сделать её... слишком крепкой. Сон, который должен был остаться в ладонях, стал вытекать за их края. Отсюда и твоя спираль. И лестница. И то, что сон возвращается сам, без настоя.

– А люди? Люди, которые пропадают из запертых комнат?

Вельяминов вздохнул.

– Павел. Я верю, что ты видел тёплую постель и мокрый пол. Но позволь старику усомниться в том, что пожилая купчиха и пьющий писец ушли во сне сквозь стены. Купчиха могла уйти из дому ещё вечером, до того как прислуга заперла дверь, – а ключ мог повернуть кто угодно. Писец мог вылезти в окно и вбить гвозди обратно снаружи, если очень хотел исчезнуть, – а он, судя по твоему рассказу, хотел. Люди пропадают в Звенце каждый месяц. Тонут, уходят на заработки, бегут от долгов. Обычно их никто не ищет. Сейчас их ищут, потому что «Листок» нашёл, на кого свалить. На тебя. И на сноварение. И на управу.

– Они видели одно и то же. Одну лестницу. Одну женщину.

– Потому что пили одну и ту же испорченную основу. Это ты сам сказал. – Вельяминов вернулся к столу и сел. – Я понимаю тебя. Правда понимаю. Тебе страшно, что это ты виноват. Ты не виноват. Виноват мой мастер, который не вылил бочку, и виноват я, что не проверил. Я сегодня же отзову всю сорок седьмую партию. Пошлю разносчиков по всем аптекам. Те склянки, что остались у тебя, – отдай мне. Я заменю их бесплатно, сорок восьмой партией, она хорошая, я сам пробовал.

Он открыл другой ящик стола и выставил на стол две склянки зелёного стекла с нетронутым сургучом.

– Вот. Возьми.

Павел смотрел на склянки и не двигался.

– Ипполит Маркович, – сказал он, – следователь Туманов спрашивал меня о составе основы.

Лицо старшины не изменилось. Только перчатки на столе чуть сжались.

– И что ты ему ответил?

– Что не знаю. Это правда.

– Это правда, – согласился Вельяминов. – И лучше, чтобы она такой и оставалась. Павел, ты приносил клятву. Ты знаешь, что написано в уставе. Тайна основы – тайна управы. Если она станет известна полиции, она станет известна всем. Начнутся подделки. Каждый кустарь в Заречье начнёт

варить свою основу в корыте. Ты представляешь, что тогда будет? Ты представляешь, сколько людей тогда действительно потеряется во сне? Не две, а двести?

– А если двести уже теряется?

– Не теряется. – Голос Вельяминова стал твёрже. – Не теряется, Павел. Пропали двое. Двое – из тех, кто пил испорченную основу. Остальные спят спокойно. Я отзову партию, и это кончится. А полиции скажи вот что: управа сама ведёт расследование. Управа сотрудничает. Управа отзывает партию. Если следователю нужно что-то ещё – пусть придёт ко мне. Сам. Я с ним поговорю.

– Он придёт.

– Пусть приходит. – Старшина улыбнулся. – Я давно не разговаривал с умными людьми. А он, судя по тому, что я слышал, умный.

Павел медленно протянул руку и взял склянки сорок восьмой партии. Они были тёплые, будто их только что сняли с огня, хотя ящик стола был холодный.

– Хорошо, – сказал он. – Я отдам вам оставшуюся основу. И передам следователю ваши слова.

– Вот и славно.

Павел встал. Вельяминов тоже встал, обошёл стол и положил ему руку на плечо. Перчатка была мягкая, тёплая.

– Ты похудел, – сказал он. – С тех пор, как Вера... Ты совсем себя не бережёшь. Я понимаю. Я тоже по ней скучаю. Она была лучшей из всех, кого я учил. Лучше тебя, уж не

обижайся.

– Я знаю.

– Она тоже задавала вопросы об основе, – тихо сказал Вельяминов. – Помнишь? Перед самым... Она всё хотела понять, как она работает. Почему связывает. Я ей говорил то же, что и тебе: не спрашивай. Не надо. Есть вещи, которые лучше не знать. Она не послушалась.

Павел поднял на него глаза.

– Вы никогда мне этого не говорили.

– Не хотел тебя мучить. Ты и так мучился. – Старшина убрал руку. – Иди, Павел. Отдохни. Выспись хоть раз. Ты... – Он помолчал, словно колеблясь, и спросил совсем другим, лёгким голосом: – Ты сам-то сны видишь? До сих пор?

Вопрос был задан так просто, так между прочим, что Павел едва не ответил «нет». Он уже открыл рот, и слово было у него на языке, и он почувствовал его вкус. А потом закрыл рот и посмотрел на учителя.

Он никогда не говорил Вельяминову, что не видит снов. Никогда. Знали только Аграфена Лукинична и Зарецкий.

– Почему вы спрашиваете?

– Ну как же, – Вельяминов развёл руками, – ты ведь работаешь с этой основой. Ты её нюхал, пробовал, наверное. Если бы ты видел сны, ты бы, может, и сам увидел эту лестницу. Мне интересно, как действует. Как учёному.

– Не вижу, – сказал Павел. – Ни лестницы. Ничего.

– Жаль, – сказал старшина, и в его прозрачных глазах на

мгновение что-то мелькнуло – облегчение или разочарование, Павел не понял. – Жаль. Ну, иди. Отдохни. И не читай «Листок», там одни глупости.

Павел вышел в коридор. Дверь за ним мягко закрылась. Он постоял немного, прислушиваясь, но из кабинета не доносилось ни звука.

В конце коридора, у лестницы, была ещё одна дверь – приёмная секретаря старшины. Она была открыта настежь. Секретаря за столом не было, но на вешалке у двери висели пальто и шляпа, и Павел, проходя мимо, машинально скользнул по ним взглядом и остановился.

Пальто было серое, хорошего сукна. Шляпа тоже серая, с широкой лентой. А в стойке для зонтов рядом стояла трость с костяным набалдашником в виде собачьей головы.

– Вы кого-то ищете, Павел Ильич?

Павел обернулся. На лестнице стоял человек лет сорока пяти, невысокий, плотный, с гладко выбритым круглым лицом и с белёсыми ресницами. На нём был серый сюртук, серый жилет и серый галстук, и весь он был какой-то серый, неприметный, будто его нарочно сшили из той же ткани, что и пальто. Павел знал его. Это был Савва Ильич Корсак, секретарь управы, служивший при Вельяминове лет пятнадцать. Тихий, исполнительный, неразговорчивый человек, которого никто никогда не замечал.

– Нет, – сказал Павел. – Я видел вас сегодня утром. На Ямской.

Корсак не смутился. Он поднялся на последнюю ступеньку, подошёл к вешалке и поправил на ней шляпу, хотя шляпа висела ровно.

– Был, – сказал он спокойно. – По поручению Ипполита Марковича. Когда в городе начинают говорить, что сноварный настой виноват в пропаже людей, управа обязана проверить, не нарушен ли устав. Я и проверял. Пристав Кузьмичёв любезно сообщил мне, что ничего такого не обнаружено. Только пятна воды. Вы ведь их тоже видели?

– Видел.

– Сырой дом, – сказал Корсак. – Овраг рядом. Протекает, наверное. – Он улыбнулся одними губами, и ресницы его дрогнули. – Всего доброго, Павел Ильич. Берегите себя. Сейчас такое время, что всякий может простудиться.

Павел вышел на Соборную площадь. Над собором кружили галки. Моросило. Склянки сорок восьмой партии оттягивали карманы, тёплые, тяжёлые.

Он не пошёл домой. Он пошёл к реке, на старую пристань у Рыбного ряда, где в этот час не было никого, кроме двух мальчишек с удочками. Сел на мокрую скамью, достал одну склянку, сломал сургуч, вынул пробку. Понюхал.

Воск. Липа. Закрытые глаза.

Ни реки, ни свечей, ни моли.

Он вылил несколько капель основы прямо в Ворожу, свесившись через край пристани, и смотрел, как они уходят в мутную воду. Облачко. Дым. Ничего больше.

Значит, хорошая. Значит, Вельяминов не солгал хотя бы в этом.

Но он солгал в другом – Павел был в этом уверен, хотя не мог бы объяснить, откуда эта уверенность. Подмоченная бочка не даёт спирали в сорок витков. Испорченная основа не зовёт людей по имени. Сырой дом не оставляет на полу ила в форме босых ног.

И ещё он солгал, когда спросил про сны. Спросил не как учёный. Спросил как человек, который боится ответа.

Павел заткнул склянку, сунул её в карман и долго сидел на скамье, глядя на реку. Мальчишки с удочками ушли. Начало темнеть. Где-то на том берегу, за рекой, над крышами управского завода, зажёгся одинокий фонарь, и Павлу на мгновение показалось, что стёкла в нём зелёные.

Потом он моргнул, и фонарь стал жёлтым, обычным. Как все.

– Павел? Ты что тут сидишь, как цапля на болоте?

По пристани, придерживая шляпу, шёл Аким Фомич Зарецкий, полицейский врач, – маленький, круглый, в очках, с потёртым саквояжем в руке. Они знали друг друга лет пятнадцать, с тех пор как Зарецкий приехал в Звенец из уезда и стал покупать у Павла порошки от мигрени, которой страдала его жена. Потом они стали играть по четвергам в шахматы. Потом Зарецкий был шафером на свадьбе Павла. Потом – тем, кто девять лет назад приехал на берег Ворожи опознавать шаль.

– Думаю, – сказал Павел.

– Думать надо в тепле. – Зарецкий сел рядом, поставив саквояж на колени. – Я с Ямской. Смотрел комнату писаря. Туманов велел. Ничего не нашёл, кроме ила. Ил обыкновенный, речной. Я такой на утопленниках вижу каждую весну.

– На утопленниках, – повторил Павел.

– Не придирайся к словам. – Доктор снял очки и протёр их платком. Глаза у него без очков были близорукие, беззащитные. – Ты плохо выглядишь.

– Мне все это сегодня говорят.

– Значит, правда. – Зарецкий надел очки. – А я вот, знаешь, в последнее время хорошо сплю. Удивительно хорошо. Мне Лиза снится.

Павел повернулся к нему. Дочь Зарецкого, Лиза, умерла два года назад от дифтерита, восьми лет от роду. После похорон доктор полгода не выходил из дому, а жена его так и не оправилась и уехала к сестре в Тверь.

– Ты пьёшь настои?

– Нет-нет. – Зарецкий махнул рукой. – Сама снится. Без всяких настоев. Будто сидит у окна, а за окном огни, и она мне говорит: «Папенька, тут светло». И мне так хорошо после этого, Павел. Как будто она не умерла, а просто уехала. – Он помолчал. – Ты-то как? Всё так же? Ничего?

– Ничего.

– Ты ведь никому не говорил? Ну, про это?

– Никому, кроме тебя. А ты?

Зарецкий не ответил сразу. Он смотрел на реку, и стёкла очков отражали серое небо.

– Да кому я скажу, – произнёс он наконец. – Мне некому. Пойду я. Холодно. Заходи в четверг, сыграем.

Он ушёл, сгорбившись, с саквояжем в руке, и Павел долго смотрел ему вслед, пока круглая фигура не скрылась за углом Рыбного ряда.

Он встал и пошёл домой. До прихода Туманова оставалось три часа, а он ещё не решил, что расскажет ему о Вере, а что оставит при себе.

Глава 6. Зелёное стекло

Туманов пришёл в половине десятого, когда Аграфена Лукинична уже убрала со стола и ушла к себе, а Уля, после долгого препирательства, всё-таки отправилась домой, к тётке в Заречье, взяв с хозяина слово, что он «ничего такого без неё не будет делать». Что именно «такого», она не уточнила.

Следователь снял пальто в прихожей, повесил его на крюк, подумал и повесил рядом фуражку. Потом прошёл в столовую, сел к столу, на котором стоял графинчик и две рюмки, и посмотрел на Павла.

– Вы были в управе.

– Был.

– Мне доложили. Вас видели на Соборной площади. А потом на пристани у Рыбного ряда. Вы там сидели два часа и выливали что-то в реку.

– Вы за мной следите?

– За вами следит пристав Кузьмичёв, – сказал Туманов. – А его городовой докладывает и ему, и мне. Его городовые всегда докладывают обоим, потому что я плачу лучше. Что вы выливали?

Павел налил две рюмки, поставил одну перед следователем и рассказал про Вельяминова. Про подмоченные бочки и отзыв партии, про просьбу молчать о составе основы, про тёплые склянки сорок восьмой партии, которые он проверил

на пристани и которые оказались чистыми. Про Корсака в сером пальто. Про вопрос о снах. Последнее он рассказал не сразу и неохотно, и Туманов это заметил.

– Почему вас смутил этот вопрос?

– Потому что я не вижу снов.

Туманов поднял бровь.

– Совсем?

– Девять лет. С той ночи, как пропала жена. Ни одного. Я засыпаю – и темнота. Просыпаюсь – темнота кончилась. Ничего между. Я пробовал свои настои, чужие, двойную основу. Ничего. Об этом знали двое. Моя кухарка и мой друг, доктор Зарецкий. Вельяминову я никогда не говорил.

– А доктор мог сказать?

– Я его сегодня спросил. Он сказал, что некому.

– Он соврал, – спокойно сказал Туманов. – Или Вельяминов спрашивал наугад. Одно из двух. Я пока не знаю, что именно, но запишу. – Он действительно что-то записал в книжку, коротко. – Теперь о вашей жене. С самого начала, как я просил.

Павел долго молчал, вертя в пальцах рюмку.

– С самого начала – это долго.

– У меня вся ночь.

И Павел начал.

Вера Андреевна Лучинина была дочерью и внучкой фонарщиков. Её дед зажигал фонари в Звенце ещё в те времена, когда они были масляные, и фонарь с зелёными стёклами

был его – старинный, кованый, с гнутой ручкой, сделанный каким-то заезжим мастером по особому заказу. Дед говорил, что зелёный свет видно дальше в тумане, а на Ворже туманы бывают такие, что собственной руки не разглядишь. Отец Веры фонарей уже не зажигал – город перешёл на керосин, а потом и на газ на главных улицах, – и служил в городской управе по хозяйственной части. Но фонарь хранился в семье, и Вера с детства любила с ним играть: зажигала в нём свечку и ходила по тёмному дому, и зелёные тени ложились на стены, и она говорила, что это подводное царство.

В сноварение она пришла сама, в девятнадцать лет, без родни и без протекции, и Вельяминов взял её в ученицы не потому, что его просили, а потому, что на вступительном испытании она по одному запаху разобрала сорокатравный сбор и назвала все сорок трав, а потом добавила, что в сорок первую, которой нет в рецепте, кто-то из учеников уронил в котёл свой волос, и сон теперь будет немножко про него. Так оно и оказалось.

– Как ваша ученица, – заметил Туманов.

– Как Уля, – согласился Павел. – Только Уля злее. Вера была добрая. И весёлая. И она всё время спрашивала.

Они познакомились в лаборатории управы, когда Павел уже получил свидетельство и приходил за основой, а Вера ещё доучивалась. Она спросила его, почему он кладёт мяту перед душицей, а не после. Он сказал, что так учили. Она сказала, что это не ответ. Через год они обвенчались в соборе

на Соборной площади, и Вельяминов стоял у них посажёным отцом, потому что Верин отец к тому времени умер, а мать была слаба и не могла выстоять всю службу.

– Как вы ей предложили? – вдруг спросил Туманов, и Павел удивлённо поднял глаза. – Простите. Это не для протокола. Мне нужно понять, какой она была.

– Я не предлагал, – сказал Павел, и впервые за вечер что-то похожее на улыбку тронуло его лицо. – Она предложила. Мы засиделись в лаборатории управы, все ушли, а на улице поднялся туман, такой, что фонарей не видно. Я сказал, что провожу её. Она достала из шкафчика свой фонарь – она его всегда носила с собой, как другие носят зонтик, – зажгла свечу, и мы пошли через всю Соборную площадь в зелёном свете. Прохожие шарахались. А у её дома она остановилась и сказала: «Павел Ильич, я хочу, чтобы этот фонарь стоял у нас на комоде. У нас, понимаете? Если вы не поняли, я повторю завтра». Я понял с первого раза.

Туманов кивнул, ничего не записав.

Первые три года были хорошие. Вера варила сны вместе с ним, в этой самой лаборатории, и аптека «Сова и ступка» стала лучшей в городе, потому что Верины сны были не похожи ни на чьи. Она умела сварить сон, в котором человек не просто видел то, что хотел, а находил в нём то, что потерял. Старухе, забывшей лицо умершего сына, она сварила сон, где старуха вспомнила его лицо до последней родинки, и проснулась, и плакала от счастья, и потом прожила ещё

десять лет. Девочке, которая боялась темноты, она сварила сон, где темнота оказалась большой ласковой собакой, и девочка перестала бояться. Об этом говорили по всему городу. К ним приезжали из уезда, из соседних губерний.

Потом Вера начала кашлять.

Сначала думали – простуда. Потом – бронхит. Потом доктор Зарецкий, тогда ещё молодой, только что приехавший, послушал её трубкой, долго молчал и сказал Павлу в прихожей, не глядя в глаза, слово, которое Павел и сейчас не мог произнести вслух без того, чтобы у него не перехватило горло.

Чахотка. Быстрая. Год, может быть, полтора.

– Она узнала раньше меня, – сказал Павел. – Она всегда всё узнавала раньше меня. Она сама себя слушала. Она знала, ещё когда Зарецкий только достал трубку.

Вера не плакала. Она поехала в Ялту, как велели врачи, прожила там три месяца, вернулась похудевшей и с горящими глазами и сказала Павлу: «Там я умру через год. Здесь, может быть, через два. Но здесь у меня есть лаборатория». И с того дня она почти не выходила с чердака.

– С чердака? – переспросил Туманов.

– У нас наверху есть комната. Под крышей. Когда-то там была сушильня для трав. Вера устроила там свою лабораторию. Отдельную. Говорила, что ей нужна тишина, что внизу её отвлекают покупатели. Я не возражал. Я думал, ей нужно чем-то заниматься, чтобы не думать.

– Чем она занималась?

– Снами. Она говорила, что во сне тело не болит. Что, если научиться спать правильно, можно дать телу отдохнуть так, чтобы оно начало выздоравливать само. Что болезнь – это усталость, а сон – лекарство от усталости, просто мы не умеем его как следует приготовить. Она варила себе сны каждую ночь. Разные. Записывала. Иногда спала по двое суток, и я не мог её разбудить, и сидел рядом, и слушал, как она дышит.

– Ей становилось лучше?

– Иногда. – Павел поставил рюмку. – Иногда она просыпалась и неделю не кашляла. Румянец появлялся. Ела. Смеялась. Я думал – получается. А потом снова кровь на платке. И снова наверх, на чердак.

– Вельяминов знал, чем она занимается?

Павел помолчал.

– Он приходил к ней. Часто. В последние полгода – почти каждую неделю. Поднимался на чердак, и они сидели там часами. Я думал, он её поддерживает. Учитель. Как отец. Он приносил ей основу – особую, говорил, крепкую, с завода. Без пошлины. Она его благодарила. А мне говорила: «Ипполит Маркович мне помогает с одной вещью. Когда получится, я тебе покажу». Я спрашивал – с какой? Она смеялась: «С местом, где мы будем вместе. Где мне не будет больно».

Туманов перестал писать.

– Место, – повторил он.

– Я тогда не понял. Я думал, это она про загробную жизнь.

Про то, что мы встретимся там. Она была верующая. Я думал – утешает себя и меня. – Павел потёр лицо ладонями. – За неделю до... до той ночи она попросила у меня прядь волос. Сказала – для медальона. Хочу, говорит, носить тебя с собой. Я отрезал ей. Смеялся ещё – что же ты, жена, как гимназистка. А она серьёзно так посмотрела и сказала: «Ты мне потом спасибо скажешь».

– Медальон у неё был?

– Не помню. Не видел. Может, не успела.

Туманов долго молчал, глядя на свою книжку.

– Расскажите про ту ночь.

Павел налил себе вторую рюмку и не выпил.

– Это было в конце октября. Как сейчас. Дождь шёл три дня. Вера весь вечер была наверху. Спустилась к ужину – весёлая, как давно не бывала. Без кашля. Поцеловала меня. Сказала: «Сегодня, кажется, получится». Я спросил – что получится? Она сказала: «Завтра расскажу». Мы легли вместе, внизу, в спальне. Вот здесь, за стеной. Она заснула первая, держала меня за руку. Я лежал и слушал, как она дышит. Ровно, спокойно, без хрипа. Я так давно не слышал, чтобы она так дышала. Я заснул счастливым. – Он замолчал. – Последний раз, когда я видел сон, это было той ночью. Я видел лестницу.

Туманов поднял голову.

– Какую лестницу?

– Я не помнил её девять лет, – сказал Павел медленно. –

Я вспомнил её сегодня. Когда читал записи Пухова. Сорок ступеней. Белая. Мокрая. Внизу огни. Я стоял наверху, а Вера стояла внизу, у первого поворота, и держала свой фонарь, и звала меня рукой. А я не пошёл. Я не знаю, почему я не пошёл. Мне стало страшно. Я подумал – если я спущусь, я не вернусь. И проснулся.

– И её не было.

– Её не было. Постель тёплая. Дверь заперта изнутри – я сам запирал. Окно закрыто. Фонаря на комоде нет. А на полу у кровати – мокрый след. Босой ноги. Пахло рекой.

Туманов отложил карандаш.

– Вы рассказали это тогдашнему следствию?

– Всё, кроме лестницы. Лестницу я не помнил. Следователь был старик, Пыжов, его уже нет в живых. Он записал. Потом приходил Кузьмичёв, тогда ещё помощник пристава. Посмотрел на пол, на окно, сказал – ушла, мол, ночью, а вы, сударь, крепко спали. Больная, в бреду, ушла к реке. Обыскали берег, ничего. Через полгода, весной, когда лёд сошёл, рыбаки нашли на отмели у Песчаной косы её шаль. Пуховую, серую, с кистями. Зарецкий опознал. Дело закрыли. «Утонула в болезненном помрачении рассудка». Похоронили пустой гроб.

– А фонарь?

– Фонаря не нашли. Никогда.

В столовой было тихо. За окном шумел тополь. Где-то на Солодовой проехала запоздалая пролётка, и стук колёс по

булыжнику долго затихал вдали.

– Остужев, – сказал Туманов наконец, и голос его был другим, тише, – почему вы мне сразу не сказали, что та ночь была такой же? Как у Клыковой. Как у Пухова. Тёплая постель, запертая дверь, мокрый след. Вы ведь поняли это ещё вчера утром. Я видел ваше лицо.

– Понял.

– Почему молчали?

Павел посмотрел ему в глаза.

– Потому что девять лет назад мне никто не поверил. Ни следователь, ни пристав, ни соседи. Мне говорили, что я сошёл с ума от горя. Мне говорили, что я сам её не уберёг. Мне говорили – за спиной, я слышал, – что я её, может быть, сам и... – Он не договорил. – Пристав сегодня сказал это вслух. «Где вы – там люди пропадают». Я не хотел, чтобы вы тоже так подумали.

– Я так подумал, – сказал Туманов. – Вчера утром. Сегодня утром тоже.

– А сейчас?

Следователь не ответил сразу. Он встал, подошёл к окну, отодвинул занавеску и долго смотрел на улицу, на одинокий фонарь на углу, на мокрую мостовую.

– Я служил на турецкой кампании, – сказал он, не оборачиваясь. – Прапорщиком. Под Карсом. Там была ночь, когда наша рота стояла в карауле у оврага, и турки пошли на нас из темноты. Я не буду рассказывать, что было дальше. Скажу

только, что из сорока человек утром нас осталось семеро. И с тех пор, каждую ночь, вот уже семнадцать лет, мне снится тот овраг. Каждую ночь, Остужев. Я ложусь и знаю, что увижу его. Я научился с этим жить. Я сплю по три часа. Я много работаю, чтобы уставать, и тогда сон короче.

Он отпустил занавеску и повернулся.

– Вы не видите снов девять лет. Я вижу один и тот же сон семнадцать лет. Нам обоим не позавидуешь. Но я точно знаю одно: сон может держать человека. Не телом – может быть, и телом, я пока не знаю. Но держать – может. Я в это верю, потому что меня он держит. – Он вернулся к столу и сел. – Так что нет. Сейчас я так не думаю.

Павел молча кивнул. Ему вдруг стало трудно говорить.

– Чердак, – сказал Туманов. – Лаборатория вашей жены. Она цела?

– Заколочена. Я заколотил её через месяц после похорон. Не мог туда ходить.

– Вы её разбирали? Бумаги, записи?

– Нет. Ничего не трогал. Полиция тогда смотрела, ничего не нашла. Склянки, травы, котелки. Записей никаких. Вера, видимо, держала их в голове. Или... – Он запнулся.

– Или их кто-то забрал, – закончил Туманов. – Кто бывал на чердаке после её исчезновения?

Павел задумался.

– Пыжов. Кузьмичёв. Зарецкий. И Вельяминов. Он приходил на следующий день. Сказал, что хочет забрать свою

основу, которую ей приносил, чтобы она не попала в чужие руки. Я не возражал. Я тогда ничего не соображал.

– Он что-нибудь унёс, кроме основы?

– Не знаю. Я с ним не поднимался.

Туманов снова записал. Потом закрыл книжку и убрал её в карман.

– Завтра я пойду к Вельяминову, – сказал он. – Сам. Он ведь вас просил передать, что ждёт меня. Не будем его разочаровывать. А вы завтра откройте аптеку и работайте. Как обычно. Только не продавайте настоев. Никаких. Говорите, что основа отозвана управой. Это будет правдой. Если кто-то придёт и расскажет про лестницу – запишите и пришлите за мной.

– А чердак?

– Чердак пока не трогайте. Я хочу, чтобы его вскрыли при мне. И при понятых. Через день-два. Сейчас у меня нет на это бумаги.

Он встал, надел в прихожей пальто и фуражку. У двери остановился.

– Ваша жена, – сказал он. – Когда вы видели её во сне на лестнице. Вы видели её лицо?

Павел закрыл глаза, пытаясь вспомнить. Лестница. Мокрые ступени. Огни внизу. Зелёный свет фонаря.

– Нет, – сказал он. – Свет бил в глаза. Я знал, что это она. Но лица не видел.

– Клыкова тоже не видела, – сказал Туманов. – Пухов то-

же. Свет в глаза. – Он помолчал. – Доброй ночи, Остужев. Постарайтесь поспать.

Когда за ним закрылась дверь, Павел долго стоял в прихожей. Потом поднялся по узкой деревянной лестнице на третий этаж, где кончались жилые комнаты и начиналась лесенка на чердак. Дверь наверху была заколочена двумя досками крест-накрест, и гвозди, вбитые его собственной рукой девять лет назад, проржавели в дереве, как гвозди в окне Пухова.

Он положил ладонь на доски. Дерево было холодное и чуть влажное.

И ему показалось – он не был уверен, может, это шумел за окном дождь, а может, кровь в ушах, – что из-за двери, оттуда, где девять лет никто не дышал, тянет еле уловимым запахом. Речной водой. Погашенными свечами.

Он постоял ещё. Потом убрал руку и спустился вниз, в спальню, и лёг, не раздеваясь, поверх одеяла, повернувшись лицом к фотографической карточке на комоде.

Вера смотрела вбок, будто её окликнули. Фонарь в её руках был серым на карточке, но Павел знал, какого он цвета.

Он заснул под утро. Темнота пришла, как всегда. Но на этот раз на самом её краю, далеко-далеко, кто-то сказал женским голосом, низким и очень усталым, одно только слово, которое он не разобрал.

Глава 7. Гимназист

Утром Павел открыл аптеку в восемь, как обычно, и к девяти понял, что обычного дня не будет.

Первой пришла шляпница Анфиса Гурьевна, та самая, что танцевала во сне на балу и хотела ещё. Она вошла, звеня браслетами, раскрасневшаяся от ветра, и с порога объявила, что прочла «Листок», ни единому слову не верит и требует свой бал, потому что за свой бал она заплатила бы и пять рублей, а не то что три. Павел объяснил ей, что основа отозвана управой и что настоев он пока не варит. Шляпница не поверила. Шляпница обиделась. Шляпница ушла, хлопнув дверью так, что колокольчик звенел ещё полминуты, и громко сказала на улице, что пойдёт к Штерну на Дворянскую, у Штерна основа своя, хорошая, и никто её не отзывает.

Потом пришёл старый лавочник с Гончарной, из тех, кому Уля накануне задавала вопросы. Он мял шапку и спрашивал, не опасно ли, что ему на краю сна что-то белое мерещилось, и не надо ли чего принять, чтобы оно больше не мерещилось. Павел дал ему простой сбор с мятой и пустырником, без основы, велел пить на ночь и прийти через три дня. Лавочник ушёл успокоенный.

Потом пришли две барышни из гимназии, которые хотели купить сон «про любовь», хихикали и краснели. Потом мастеровой с завода, которому нужно было от зубной боли.

Потом жена почтмейстера, которой нужно было от мигрени. Потом снова барышни, другие, и снова про любовь. Павел отказывал, отпускал порошки, отказывал. Уля стояла за прилавком рядом с ним, вела счёт и молчала, но молчание её было громче любых слов.

В десятом часу, когда в зале было пусто, звякнул колокольчик, и вошла Евдокия Лемешева. За руку она вела сына.

Павел увидел их лица и вышел из-за прилавка.

– В заднюю комнату, – сказал он. – Уля, запри дверь. Повесь табличку.

Костя Лемешев сел в то самое плюшевое кресло, в котором три дня назад сидела Мавра Сидоровна. Он был бледен, под глазами залегли тени, но держался прямо и смотрел на Павла с тем же живым любопытством, что и тогда, в прихожей на Почтовой. Мать стояла за креслом, вцепившись в его спинку.

– Он не пил, – сказала она быстро, не дожидаясь вопроса. – Клянусь, Павел Ильич. Ни капли. Пузырёк же ваш господин следователь забрал. А он всё равно. Две ночи подряд. Я слышу – стонет. Бужу – а он смотрит и не узнаёт. Потом узнаёт и говорит: «Маменька, я опять там был». Господи, Павел Ильич, где там? Где?

– Сядьте, Евдокия Петровна, – сказал Павел. – Уля, принеси воды. – Он придвинул себе стул и сел напротив мальчика, так, чтобы их колени почти соприкасались. – Костя. Расскажи мне. Всё, что помнишь. С самого начала. Не торопись.

Мальчик облизнул пересохшие губы.

– Первую ночь, когда я ваш настой выпил, я лежал на поляне. Как вы сказали. Смотрел на облака. Хорошо было. А потом повернул голову и увидел – там, где трава кончается, лестница. В землю уходит. Белая. Я подумал – как в книжке про пещеры. Хотел посмотреть, но вы сказали лежать. Я лежал. Утром проснулся.

– Это я знаю. Дальше.

– Вторую ночь – это когда вы приходили и забрали пузырёк – я просто лёг. Без ничего. И сразу оказался там. Не на поляне. Прямо у лестницы. Стою на верхней ступеньке. Поляны нет – вокруг темно, только лестница светится, будто изнутри. И внизу огни. Очень много огней. Как будто город, только под землёй. И она там стоит. Женщина. С фонарём.

– Далеко?

– Далеко. Ступенек на тридцать. Она мне рукой помахала. Не страшно, а так, по-доброму. Как будто ждала. Я не пошёл. Проснулся.

– А вчера?

Костя помолчал. Взял у Ули стакан с водой, отпил. Руки у него не дрожали, и Павел подумал, что у мальчишки крепкие нервы – крепче, чем у его матери.

– Вчера я спустился, – сказал он тихо. – Не хотел. Ноги сами пошли. Я считал ступеньки. Я всегда считаю, когда по лестнице иду, у нас в гимназии их сорок две до третьего этажа. Тут я досчитал до двадцати, и она оказалась прямо пере-

до мной. На соседней ступеньке. Высокая. В светлом платье, длинном, старомодном. Фонарь в руке – кованый, зелёный. Свет прямо в глаза, ничего не видно. Она сказала: «Здравствуй, Костя. Тебя здесь ждут».

– Ты спросил, кто ждёт?

– Спросил. Она сказала: «Все. Здесь есть библиотека, где все книги дочитаны до конца. И есть карта, по которой можно уплыть куда хочешь. Ты ведь хотел уплыть, Костя?» А я хотел. Я правда хотел. Я «Пятнадцатилетнего капитана» три раза перечитывал. Я маменьке не говорил, но я хотел сбежать в Одессу и наняться юнгой. – Он покосился на мать, и та всхлипнула. – Она откуда-то знала. Я никому не говорил. Только в дневнике написал, а дневник у меня под матрацем, его никто не читал.

– Что было потом?

– Потом она опустила фонарь. Немножко. Чтобы свет не в глаза. И я увидел её лицо.

Павел почувствовал, как у него остановилось сердце. Не замерло – остановилось, на один удар, и потом пошло снова, тяжело, неровно.

– Какое лицо?

– Красивое, – сказал Костя. – Молодое. Тёмные волосы, высоко подобранные. Брови вот так. – Он показал пальцами. – Маленькая родинка над губой. Слева. И глаза.

– Что глаза?

Мальчик нахмурился, подбирая слово.

– Неправильные, – сказал он наконец. – Как у куклы. Знаете, у сестры моей двоюродной есть кукла фарфоровая, из Петербурга, с настоящими волосами. У неё глаза стеклянные, и если на неё долго смотреть, кажется, что она тоже смотрит. Но не видит. Вот так. Красивые глаза, и смотрят, но не видят. Мне стало страшно. И я проснулся. Маменька меня трясла.

Павел медленно встал, вышел из комнаты, поднялся наверх, в спальню, взял с комода фотографическую карточку в деревянной рамке и спустился обратно. Руки у него не дрожали. Он сам удивился, что не дрожат.

– Костя, – сказал он, показывая карточку. – Посмотри. Это она?

Мальчик взял рамку обеими руками и долго, очень долго рассматривал. Мать заглядывала ему через плечо. Уля стояла у двери и смотрела не на карточку, а на Павла.

– Похожа, – сказал Костя наконец. – Очень похожа. Волосы такие. Брови. Родинка. Фонарь – тот самый, я его хорошо разглядел. Но...

– Но?

– Здесь она живая, – сказал мальчик, трогая пальцем стекло. – Здесь она смотрит на кого-то. Видите? Её окликнули, и она повернулась. А там – нет. Там она как будто смотрит, но никого не видит. Это она? Ваша?

– Моя жена, – сказал Павел. – Она пропала девять лет назад.

Евдокия Лемешева ахнула и перекрестилась.

Павел забрал карточку и некоторое время стоял, держа её в руках. Потом положил её на стол лицом вниз.

– Костя, – сказал он, – послушай меня внимательно. Ты не должен спускаться. Ни на одну ступеньку больше. Что бы она ни говорила. Что бы ни обещала. Библиотека, карта, Одесса – это всё неправда. Это приманка. Ты понимаешь?

– Понимаю, – сказал Костя. – А как не спускаться, если ноги сами идут?

Павел не ответил. Он не знал ответа.

Он отпустил Лемешевых с мешочком простого успокоительного сбора и с наказом не спать днём, а ночью – спать при свече, и чтобы мать сидела рядом и будила сына, как только тот начнёт стонать. Сам он понимал, что это не поможет. Сон, который возвращается без настоя, нельзя отогнать свечой.

Когда за ними закрылась дверь, Уля сказала:

– Это не она.

– Что?

– Это не Вера Андреевна. – Уля стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на него упрямо и сердито. – Вы слышали, что он сказал. Стеклянные глаза. Кукла. Смотрит и не видит. Это не она. Это кто-то в её лице.

– Ты её никогда не видела.

– Я видела карточку. Каждый день вижу, когда вы её с комода на ночь переставляете, а утром обратно. Думаете, я не замечаю? – Она шмыгнула носом. – На карточке она живая.

Мальчишка правду сказал. А та, на лестнице, неживая. Это не она, Павел Ильич. Вы не верьте.

Павел посмотрел на ученицу долгим взглядом.

– А если это она, Уля? Если это то, что от неё осталось? Девять лет – долгий срок. Если она девять лет там, внизу, может быть, она такой и стала. Неживой.

Уля открыла рот, закрыла, и глаза у неё вдруг налились слезами.

– Тогда тем более не верьте, – сказала она дрожащим голосом. – Потому что живая Вера Андреевна никогда бы не стала звать детей вниз. Вы сами рассказывали, какая она была. Она девочке темноту в собаку превратила. А эта – мальчишку в Одессу зовёт, чтобы он не вернулся. Это не она.

Павел ничего не ответил. Он поднял карточку со стола, посмотрел на неё – на живое лицо, повёрнутое к кому-то, кто окликнул, – и унёс её наверх.

До обеда он просидел в лаборатории над старыми тетрадями. Тетради были ещё ученические, двадцатилетней давности, исписанные его молодым, неровным почерком: рецепты, которые диктовал Вельяминов, и рецепты, которые Павел собирал сам, у старых травниц в Заречье и у деревенских бабок, по уездным ярмаркам. Среди них был один, записанный со слов слепой старухи из Ольховки, на последней странице, под заголовком «Засов». Старуха называла его средством «от чужого сна» и уверяла, что им в старину поили детей, которых по ночам звала к себе русалка.

Полынь горькая, крепкая, августовская. Крупная серая соль, лучше та, что долго лежала на пороге. Железные опилки с подковы. Зола от осиновых дров. Всё это настаивалось на колодезной воде без лунной, без частицы и, главное, без основы, и пилось на ночь по глотку.

Павел никогда его не варил. Он и сейчас не верил, что старухино средство поможет. Но ничего другого у него не было.

Полынь нашлась в шкафу, соль – на кухне у Аграфены Лукиничны, которая, узнав, зачем, молча отдала ему всю солонку с порога, ту, что стояла там под половиком «от лихих людей» ещё со времён Павловой матери. Подкову Уля принесла от кузнеца на углу. Осиновой золы пришлось ждать, пока Фрол растопит печь в дворницкой. К обеду в маленькой медной кастрюльке стоял мутный, горький, отвратительно пахнущий отвар, и Павел перелил его в бутылку из-под сельтерской.

– Это поможет? – спросила Уля, морщась от запаха.

– Не знаю. Хуже не будет.

Туманов пришёл после обеда. Он был мрачен, и пальто у него было застёгнуто не на те пуговицы, чего Павел прежде за ним не замечал.

– Был у вашего учителя, – сказал он, садясь на табурет в лаборатории. – Два часа. Очень любезный человек. Угостил коньяком и турецким табаком. Показал завод за рекой – не весь, только чистые цеха, где разливают по склянкам. Пока-

зал подмоченный погреб. Погреб действительно мокрый. На стенах следы воды выше колена. Бочек там нет, вылиты, говорит. Показал приказ об отзыве сорок седьмой партии, подписанный вчерашним числом. Показал журнал отпуска основы по аптекам. Сорок седьмая ушла в шесть аптек, включая вашу. Сорок склянок. Двадцать уже вернули. Остальные, говорит, вернут к концу недели.

– Двадцать склянок, – повторил Павел. – Из каждой можно сварить по пятнадцать снов.

– Я посчитал. Шестьсот снов. Если по сну на человека – шестьсот человек. Если хоть половина из них видит лестницу...

Он не договорил.

– Что ещё он сказал?

– Что вы его лучший ученик после вашей жены. Что вы очень страдали, когда она пропала. Что вы, возможно, до сих пор страдаете и поэтому склонны видеть в обычной порче основы что-то сверхъестественное. Что он очень за вас беспокоится. – Туманов помолчал. – Очень убедительно говорил.

– Вы ему поверили?

– Я заметил, что он ни разу не снял перчаток. Даже когда наливал коньяк. Даже когда трогал стену в погребе. И ещё я заметил, что стены в погребе мокрые, но плесени на них нет. Совсем. А погреб у реки, которому месяц как подтопило, не может быть без плесени. Значит, его подтопили не месяц

назад. А позавчера. Нарочно. К моему приходу.

Павел посмотрел на него с невольным уважением.

– А секретарь?

– Корсак? Был при нас всё время. Молчал. Записывал. Один раз, когда я спросил старшину про вашу жену, он уронил перо. – Туманов достал книжку и заглянул в неё. – Вельяминов сказал, что Вера Андреевна была гениальной сноваркой, что болезнь помутила ей рассудок, что в последние месяцы она варила себе опасные сны и что он пытался её остановить. Что основу ей носил, чтобы она не покупала у кустарей, которые продают всякую дрянь. Что после её исчезновения забрал с чердака эту основу и сжёг. Ничего больше не брал.

– Он лжёт.

– Возможно. Доказать не могу. – Следователь убрал книжку. – У вас что?

Павел рассказал про Костю. Про двадцатую ступеньку. Про библиотеку и карту. Про лицо с родинкой и стеклянными глазами.

Туманов слушал, не перебивая, и только когда Павел дошёл до фотографической карточки, медленно выдохнул сквозь зубы.

– Значит, её лицо, – сказал он.

– Её лицо. Не её глаза.

– Девчонка ваша права, – неожиданно сказал Туманов. – Я тоже думаю, что это не она. То, что зовёт людей вниз, зна-

ет, чего они хотят. Купчиха хочет мужа, писарь – порядка, мальчишка – Одессы. Оно надевает то, что приманит. А вам оно, если вы спуститесь, покажет вашу жену. Живую. Настоящую. С правильными глазами. Именно поэтому вам туда нельзя.

– Я и не собираюсь.

– Собираетесь, – сказал Туманов. – У вас на лице написано. Но не сегодня.

Он встал.

– Сегодня ночью мы с вами будем сидеть у постели мальчишки Лемешевых. Вы, я и ваша ученица, раз уж она всё равно не отстанет. Мать пусть спит в соседней комнате, нам она будет мешать. Если он начнёт спускаться – будить. Каждый час. Если не проснётся – смотреть. Я хочу видеть своими глазами, как человек уходит сквозь стену. Если это вообще происходит.

– А если это происходит? – спросила Уля из дверей. – Что тогда?

Туманов посмотрел на неё, и впервые за всё время Павел увидел на его узком бледном лице что-то похожее на растерянность.

– Тогда, барышня, – сказал он, – мы будем знать, что именно мы ищем. Это больше, чем мы знаем сейчас.

Вечером, перед закрытием, в аптеку зашёл ещё один человек. Высокий, тощий, длинноволосый, в пальто с потёртым бархатным воротником и с футляром для скрипки под мыш-

кой. Он представился Ефремом Дудиным, первой скрипкой городского оркестра, и сказал, что у него в субботу сольный концерт в Дворянском собрании, а он не спит уже неделю от волнения, и ему нужен сон – непременно сон, в котором он сыграет концерт без единой ошибки, потому что если он сыграет его во сне, то и наяву сыграет.

Павел отказал. Объяснил про отзыв основы. Объяснил про пропавших.

Скрипач слушал вежливо и рассеянно, глядя куда-то поверх Павловой головы, будто слышал музыку, которой никто больше не слышал. Потом сказал:

– Я понимаю. Вы боитесь. А я боюсь сыграть плохо. Мой страх сильнее, господин аптекарь. Простите. Я пойду к Штерну.

И ушёл, бережно прижимая к груди футляр.

Павел долго смотрел ему вслед. Потом повернулся к Уле.

– Штерн, – сказал он. – Шляпница сказала, что у Штерна своя основа.

– Штерн говорит, что у него своя, – поправила Уля. – А покупает он, как все, на складе. Я видела его разносчика. Он с Сенькой Жмыхом приятельствует, у них одна телега.

– Сорок седьмая?

– Не знаю. Узнаю.

Павел кивнул и пошёл одеваться. Бутылку из-под сельтерской с горьким старухиным «Засовом» он завернул в газету и сунул в карман пальто, туда, где ещё вчера лежал Улин пу-

зырёк со спиралью. Впереди была ночь на Почтовой, у постели мальчика, который хотел уплыть в Одессу, и Павел не знал, хватит ли на эту ночь полыни, соли и ржавой подковы.

Глава 8. Ночь у постели

Квартира Лемешевых на третьем этаже доходного дома Рыкова состояла из трёх комнат: маленькой гостиной с геранью на подоконнике и с портретом покойного главы семейства в мундире губернского секретаря, спальни вдовы и узкой, похожей на пенал комнатки, в которой жил Костя. Комнатка была обклеена картами. Карта полушарий, карта Африки с пометками карандашом вдоль течения Нила, карта Чёрного моря, выдранная, судя по всему, из какого-то атласа, с Одессой, обведённой в кружок. Над кроватью висела гравюра – трёхмачтовый корабль под всеми парусами в бурном море. На этажерке теснились книги: Жюль Верн, Майн Рид, Купер, потрёпанные, зачитанные, с загнутыми уголками страниц.

– Он мне ни разу не говорил, – прошептала Евдокия Петровна, стоя на пороге и глядя на Одессу в кружке. – Я думала, он просто любит картинки.

– Идите спать, Евдокия Петровна, – мягко сказал Павел. – Мы посидим. Если что – позовём.

– Я не усну.

– Тогда лежите в своей комнате и молитесь. Это тоже помогает.

Она ушла, оглядываясь. Дверь в её спальню осталась приоткрытой, и через минуту оттуда донёсся тихий шёпот.

Туманов взял стул из гостиной и поставил его у изголовья кровати, спинкой к стене. Павел сел в ногах, на сундук. Уля устроилась на полу у этажерки, подтянув колени к подбородку и укрывшись своей шалью. Между ними на столике у кровати горела толстая восковая свеча в медном подсвечнике – Павел принёс её из аптеки, церковную, на три часа горения, и ещё две такие же лежали в его кармане.

Костя лежал под одеялом в ночной рубашке и смотрел на них по очереди с любопытством, которое не могла заглушить даже усталость.

– Вы всю ночь будете сидеть? – спросил он.

– Всю ночь.

– И смотреть, как я сплю?

– И будить тебя каждый час, – сказал Туманов. – Так что выспаться тебе сегодня не удастся. Зато и вниз не уйдёшь.

– А если я всё-таки уйду?

– Не уйдёшь, – сказал Павел и достал из кармана бутылку из-под сельтерской, завёрнутую в газету. – Сначала выпей это. Глоток. Большой.

Костя взял бутылку, понюхал и скривился так, что Уля фыркнула.

– Это что?

– Полынь, соль, железо, зола. Старинное средство. Называется «Засов». От чужого сна.

– Оно поможет?

– Не знаю. Пей.

Мальчик зажмурился и отхлебнул. Лицо его перекосилось, он закашлялся, замахал руками, и Уля поспешно подала ему кружку с водой. Он пил долго, жадно, потом откинулся на подушку и сказал, отдышавшись:

– Хуже рыбьего жира.

– Зато действует, – сказал Павел, хотя сам в это не верил.

Костя заснул быстро, через четверть часа, словно провалился. Дыхание его стало ровным и глубоким. Туманов вынул из кармана часы, открыл крышку и положил их на столик рядом со свечой.

– Десять сорок, – сказал он. – Будим в одиннадцать сорок.

Они сидели молча. В доме было тихо. Где-то внизу, во втором этаже, плакал младенец, потом затих. На улице проехал извозчик, потом другой. Из соседней комнаты доносился шёпот вдовы, потом и он стих: видно, она всё-таки задремала. Свеча горела ровно, не мигая, и запах воска смешивался с горьким запахом полыни, который ещё висел в комнате.

В одиннадцать сорок Туманов положил руку мальчику на плечо и легонько потряс.

– Костя.

Мальчик открыл глаза сразу, без всякого перехода, и посмотрел на следователя ясным взглядом.

– Я тут, – сказал он.

– Что видел?

– Лестницу. – Костя приподнялся на локте. – Только она закрыта. Там решётка. Прямо на верхней ступеньке. Желез-

ная, ржавая, как ворота у кладбища. Я стою перед ней, а пройти не могу. А она внизу стоит, далеко, и смотрит.

Павел и Туманов переглянулись.

– Помогло, – прошептала Уля из угла.

– Спи дальше, – сказал Павел. – Если решётка – стой перед ней. Не трогай.

Костя кивнул, лёг и через минуту снова дышал ровно.

– Старухино средство, – сказал Туманов тихо. – Полынь и подкова. Кто бы мог подумать.

– Это пока, – так же тихо ответил Павел. – Посмотрим, что будет дальше.

В двенадцать сорок Костя проснулся сам, раньше, чем Туманов успел его тронуть, и сказал, что решётка на месте, что женщина подошла ближе и стоит теперь на десятой ступеньке, и что она ничего не говорит, только смотрит. Павел дал ему ещё глоток «Засова». Мальчик выпил, на этот раз не кашляя, и снова уснул.

Потом они долго сидели молча, и молчание это стало тяжёлым, и первой его нарушила Уля.

– Господин следователь, – сказала она шёпотом из своего угла, – а вы правда думали, что это Павел Ильич?

Туманов повернул к ней голову.

– Правда.

– А почему?

– Потому что так бывает почти всегда, барышня. Когда пропадает человек, виноват обычно тот, кто был рядом.

Муж, жена, сосед, приказчик, аптекарь. В девяти случаях из десяти. Я двенадцать лет служу следователем и могу пересчитать по пальцам одной руки, когда это было иначе.

– А сейчас иначе?

– Сейчас я сижу у постели мальчика и жду, не уйдёт ли он сквозь стену, – сказал Туманов. – Если бы мне неделю назад сказали, что я буду это делать, я бы написал рапорт о помешательстве. На себя. Так что да. Сейчас иначе.

Уля помолчала.

– Сенька Жмых сказал, – проговорила она, – что Штерну в начале месяца привезли три склянки сорок седьмой. Он сам их грузил. И ещё он сказал, что на складе в тот день был господин Корсак и сам отмечал, кому какие склянки. Обычно он никогда не отмечает. Обычно кладовщик.

– Когда он тебе это сказал? – спросил Павел.

– Сегодня вечером. Я к нему на склад бегала, пока вы бутылку заворачивали.

– Уля.

– Я днём бегала, Павел Ильич. Не ночью. И не одна, а с Фролом. – Она насупилась. – И ещё Сенька сказал, что господин Корсак велел ему отвезти в Подгорье две склянки не по описи. Без бумаги. В какой-то дом у оврага. Он адреса не помнит, но дом приметный: с зелёными ставнями и без собаки во дворе. Сенька говорит, что во всём Подгорье это единственный двор без собаки.

Туманов вынул книжку и записал, придвинувшись к све-

че.

– Дом с зелёными ставнями, Подгорье, у оврага, – повторил он. – Без собаки. Барышня, вам надо служить в сыскной полиции.

– Женщин не берут, – сказала Уля с обидой.

– Тем хуже для сыскной полиции, – ответил Туманов, и Павлу показалось, что в полутьме он улыбнулся.

Павел смотрел на спящего мальчика и думал о другом.

– Почему он? – сказал он вслух. – Почему именно они? Шестьсот снов из сорок седьмой партии. Сотни людей. А пропадают трое. Клыкова, Пухов, теперь, может быть, Костя. Почему не шляпница? Почему не лавочник с Гончарной? Они ведь тоже видели белое на краю.

– Видели, но не захотели спуститься, – предположил Туманов.

– Клыкова тоже не хотела. Она записала: «Не пошла – страшно». А потом пошла. Пухов не хотел – «страшно, не очень страшно». Костя не хочет – он знает, что глаза неправильные. Их зовут. Именно их. Остальным показывают лестницу, а этих зовут по имени.

– Значит, кто-то выбирает, – сказал Туманов. – По какому признаку?

Павел не знал. Он смотрел на карту Чёрного моря с Одессой в кружке и думал о вдове, которая хотела помириться с мужем, о писаре, который хотел, чтобы бумаги были в порядке, о мальчике, который хотел уплыть. Ничего общего.

Ничего.

Во втором часу задремал Туманов.

Павел не сразу это заметил. Следователь сидел так же прямо, прислонившись спиной к стене, со скрещёнными на груди руками, и только голова его чуть склонилась набок. Но потом дыхание его изменилось – стало частым, рваным, – и пальцы, лежавшие на локтях, сжались так, что побелели костяшки. Лицо исказилось. Губы шевелились беззвучно.

– Глеб Корнеевич, – тихо позвал Павел.

Туманов не ответил. Он дышал всё чаще, и Павел увидел, как по его виску стекает капля пота. Губы его теперь шептали отчётливо, и Павел разобрал:

– Ложись... ложись, Федотов... не вставай... они идут из оврага... не вставай...

Павел встал с сундука, обошёл кровать и положил руку на плечо следователя. Туманов вздрогнул всем телом, открыл глаза – пустые, чёрные, невидящие – и рука его метнулась к поясу, туда, где когда-то висела шашка. Потом он увидел Павла. Увидел свечу, мальчика, карты на стенах. Медленно опустил руку.

– Простите, – сказал он хрипло.

– Ничего.

– Я не должен был засыпать. Это непозволительно. – Он вытер лоб тыльной стороной ладони. – Который час?

– Без четверти два.

– Будите мальчика. Я посижу у окна. Постою. Чтобы не

уснуть.

Он встал и подошёл к окну, и Павел видел, как он стоит там, держась обеими руками за подоконник, и смотрит на тёмную Почтовую, и плечи его ходят ходуном.

Уля, которая всё это время не сводила глаз со следователя, тихо сказала:

– У него тоже свой овраг.

– У всех свой овраг, – ответил Павел и повернулся к Косте.

В час сорок пять мальчик проснулся с трудом. Туманов, отойдя от окна, тряс его минуту, прежде чем тот открыл глаза, и глаза эти были мутные, сонные.

– Решётка, – пробормотал Костя. – Решётка ещё есть. Но она подошла к ней. С той стороны. Стоит прямо за прутьями. Она что-то сказала.

– Что?

– Что решётку поставил не я. Что решётку поставил тот, кто знает старые рецепты. И что она его знает. – Мальчик повернул голову и посмотрел на Павла. – Она сказала: «Передай Павлу, что я его жду». Это вы – Павел?

У Павла пересохло во рту.

– Я.

– Она вас знает.

– Выпей ещё, – сказал Павел, протягивая бутылку. Рука его дрогнула, и несколько капель пролилось на одеяло.

Костя выпил. Уснул.

Свеча догорела до половины. Павел зажёг от неё вторую, а первую погасил, и в комнате на мгновение стало темнее, а потом снова светло. Уля в углу шевельнулась.

– Павел Ильич.

– Что?

– Чуете?

Павел втянул воздух. Полынь. Воск. Пыль от старых книг. И ещё – слабое, на самом краю, едва различимое – холод. Сырость. Тина.

Туманов тоже почуял. Он отошёл от окна и встал у кровати, глядя на спящего мальчика.

– Будить? – спросил он.

– Будить. Сейчас.

Туманов наклонился и потряс Костю за плечо. Мальчик не проснулся. Туманов потряс сильнее. Голова Кости мотнулась на подушке, но глаза не открылись. Дыхание его было ровным, глубоким, спокойным – слишком спокойным.

– Костя! – позвал Павел громко. – Костя, просыпайся!

Ничего.

Уля вскочила и схватила бутылку с «Засовом».

– Дать ему?

– Он не проглотит, захлебнётся. – Павел сам наклонился над мальчиком, приподнял ему веко. Зрачок был огромный, чёрный, во весь глаз, и не сузился от света свечи. – Он там. Он уже там.

Запах реки становился сильнее. Теперь его чуяли все трое

– сырой, холодный, тяжёлый, будто кто-то открыл в комнате окно прямо на Ворожу. Пламя свечи вдруг качнулось, хотя сквозняка не было, вытянулось вверх и стало тонким, длинным, синеватым у основания.

– Матерь божья, – сказал Туманов.

Павел увидел, что одеяло на Косте темнеет. Не всё – там, где лежали его ступни. Тёмное пятно расползалось по ткани снизу вверх, медленно, как расползается вода по промокательной бумаге. Мокрое.

Он схватил мальчика за руку.

Рука была холодная. Не прохладная, как у спящего, а ледяная, мокрая, как будто Костя только что вынул её из реки. Павел сжал её изо всех сил.

– Держу, – сказал он. – Я его держу. Глеб Корнеевич, держите вторую.

Туманов схватил вторую руку. Уля упала на колени у кровати и вцепилась в Костино плечо.

– Костя! – кричала она. – Костя, не ходи! Слышишь? Это не она! Это кукла! Не ходи!

Из соседней комнаты выбежала Евдокия Петровна, растрёпанная, в капоте, и закричала, увидев их.

Павел не обращал на неё внимания. Он держал руку мальчика и чувствовал, как она меняется в его ладони. Становится легче. Мягче. Как будто кости в ней размокали, как будто плоть превращалась в воду и уходила сквозь пальцы. И он слышал. Слышал не ушами, а чем-то другим, тем, чем

девять лет назад слышал лестницу во сне, – тихий, ровный голос мальчика, считающий:

– Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три...

– Костя, вернись!

– Двадцать четыре. Она открыла решётку. Она сказала, что вы её всё равно не удержите. Двадцать пять. Тут так светло, Павел Ильич. Тут огни. Двадцать шесть...

– Костя, это не она!

– Я знаю, – сказал голос, и Павлу показалось, что в нём впервые прозвучал страх. – Я вижу глаза. Но ноги идут. Двадцать семь. Двадцать восемь...

Тело мальчика под одеялом становилось прозрачным. Павел видел это и не мог поверить, что видит. Сквозь Костину руку, которую он держал, проступали складки простыни. Сквозь бледное лицо – узор наволочки. Это было похоже на то, как тает утренний туман над рекой: ещё минуту назад он был плотный, белый, и вдруг его нет, а ты не заметил, когда он истончился.

– Держите! – хрипел Туманов. – Держите, Остужев!

Павел держал. Он держал так, что ногти впивались ему в ладонь. Но держать было уже нечего. В его кулаке была только вода, холодная, мутная, она текла сквозь пальцы и капала на пол.

– Тридцать восемь, – сказал голос где-то очень далеко. – Тридцать девять. Сорок. Тут дверь. Павел Ильич, тут дверь, и за ней...

Голос оборвался.

Свеча вспыхнула ярко, жёлто, как обычно, и пламя её снова стало ровным.

Кровать была пуста.

Одеяло лежало на простыне плоско, мокрое снизу до середины. Подушка хранила вмятину от головы. Ночная рубашка мальчика лежала тут же, на простыне, смятая, мокрая насквозь, будто её только что вытащили из реки. И на полу у кровати, на крашеных досках, расплывались лужицы – не две, а много, цепочкой, от кровати к стене, где висела карта Чёрного моря. У самой стены цепочка обрывалась. Будто мальчик прошёл сквозь Одессу в кружке.

Евдокия Петровна закричала так, что внизу снова заплакал младенец, а потом захлопали двери по всему дому.

Павел стоял на коленях у кровати и смотрел на свою ладонь. Ладонь была мокрая. Между пальцами застряла тонкая серая нитка речной травы.

Туманов медленно выпрямился. Лицо у него было белое, как простыня, и руки, которые только что держали мальчика, висели вдоль тела, мокрые до локтей.

– Я видел, – сказал он тихо, словно самому себе. – Я видел своими глазами.

Уля сидела на полу, прижав к груди Костину мокрую рубашку, и не плакала. Она смотрела на стену, на карту, на то место, где обрывались следы.

– Он знал, что это не она, – сказала она. – Он видел глаза.

А ноги всё равно пошли.

– Ноги всё равно пошли, – эхом повторил Павел.

Туманов подошёл к стене, присел на корточки и потрогал последнюю лужицу. Потом выпрямился, подошёл к столику, взял свои часы и посмотрел на них.

– Два часа двадцать три минуты, – сказал он, и голос его снова стал ровным, служебным, будто кто-то внутри него повернул ключ. – Запишите, барышня, если можете писать. Два часа двадцать три минуты. Свидетели: судебный следователь Туманов, аптекарь Остужев, Устинья Пескова, мать пропавшего. Гимназист Константин Лемешев, пятнадцати лет, исчез из постели в присутствии свидетелей. Способ исчезновения...

Он замолчал.

– Способ исчезновения не установлен, – сказал он наконец. – Пишите так. Не установлен.

Внизу хлопнула дверь парадного, и по лестнице затопали тяжёлые сапоги – кто-то из жильцов уже сбегал за городовым. Евдокия Петровна сидела на полу в гостиной под портретом мужа и раскачивалась взад и вперёд, повторяя одно и то же слово, и слово это было «Одесса».

Павел поднялся с колен. Ноги не слушались. Он посмотрел на свою мокрую ладонь, на нитку речной травы, на пустую кровать, на гравюру с кораблём под всеми парусами.

– Она сказала, что ждёт меня, – произнёс он вслух.

– Не смейте, – сказала Уля, не поднимая головы. – Слы-

шите? Не смейте даже думать.

Глава 9. Пристав

Пристав Кузьмичёв приехал на Почтовую в начале пятого утра, когда за окнами ещё не начинало светать, а в квартире Лемешевых уже толпились соседи, дворник, двое городовых и какая-то старуха с первого этажа, которая принесла святой воды и кропила ею всё подряд, включая Туманова.

Пристав вошёл в Костину комнату, не снимая шинели, огляделся, посмотрел на мокрую постель, на лужицы у стены, на карту Чёрного моря, и усмехнулся в усы.

– Ну-с, – сказал он. – Опять, значит.

– Пристав, – сказал Туманов от окна. Голос его был хриплым, но ровным. – Это не ваш участок.

– Не мой, – согласился Кузьмичёв. – Почтовая – это третий участок, пристава Гвоздева. Только Гвоздев с вечера в Подгорье на пожаре, а полицмейстер велел мне быть за него. Вот, извольте. – Он достал из-за обшлага сложенную бумагу и помахал ею в воздухе, не разворачивая. – Велено мне, значит, во всех случаях пропажи людей, связанных со сноварными настоями, действовать безотлагательно. Подпись полицмейстера, полковника Обрезкова. Вчерашняя.

– Вчерашняя, – повторил Туманов. – Интересно, кто его надоумил вчера.

– Город надоумил, господин следователь. Город волнуется. «Листок» читали? – Пристав повернулся к Павлу, ко-

торый сидел на сундуке, всё ещё держа в руке нитку речной травы. – Господин Остужев. Опять вы. Опять у постели. Опять человек пропал. Это сколько уже будет? Жена, купчиха, писарь, теперь мальчонка. И всё ваши настои.

– Мальчик не пил настоя, – сказал Павел. – Ни вчера, ни позавчера. Следователь забрал пузырёк три дня назад.

– А что же он пил? – Кузьмичёв шагнул к столику, взял бутылку из-под сельтерской, понюхал и сморщился. – Вот это, что ли? Тьфу, гадость. Это что за отрава?

– Полынь, соль, зола и железо. Я сварил это, чтобы мальчик не видел снов.

– Вы сварили, – с удовлетворением сказал пристав. – Вы сварили, вы дали, мальчик выпил и пропал. Так и запишем. – Он повернулся к городовому. – Изъять. Бутылку, рубашку, одеяло. Всё.

– Я присутствовал при всём, – сказал Туманов, не повышая голоса. – От начала до конца. Мальчик не исчез оттого, что выпил полынь. Он исчез у нас на глазах. Сквозь стену. Я держал его за руку.

Кузьмичёв повернулся к нему всем своим грузным телом и долго, со вкусом, рассматривал следователя – его бледное лицо, мокрые рукава, пальто, застёгнутое не на те пуговицы.

– Сквозь стену, – повторил он. – Вы, господин следователь, это в рапорте напишите? Полицмейстеру? Прокурору? «Держал за руку, а он сквозь стену ушёл»? – Пристав покачал головой с притворным сочувствием. – Не советую. Не сове-

тую, Глеб Корнеевич. Скажут – заработался человек. Скажут – нервы, контузия, турецкая кампания. Я ведь знаю, что вы по ночам не спите. Весь участок знает. Отправят на воды лечиться, а дело передадут кому поспокойнее. Мне, например.

Туманов ничего не ответил. Он стоял у окна, и Павел видел, как у него на скуле ходит желвак.

– А вас, господин аптекарь, – продолжал Кузьмичёв, поворачиваясь к Павлу, – я задерживаю. По подозрению в отравлении. До выяснения. Встаньте.

Уля вскочила с пола.

– Вы не имеете права!

– Имею, барышня, имею. Вон бумага. – Пристав снова помахал свёрнутым листом. – А вы кто ему будете? Ученица? Тоже, значит, настои варите? Может, и вас задержать?

– Пристав, – сказал Павел, вставая. – Оставьте её. Она ни при чём. Я пойду.

– Пойдёте, конечно, куда вы денетесь. – Кузьмичёв кивнул городовым. – Взять.

Городовые подошли к Павлу с двух сторон. Один взял его за локоть – не грубо, а скорее неловко, как берут под руку пожилого человека на скользкой мостовой. Павел не сопротивлялся.

– Глеб Корнеевич, – сказал он, проходя мимо следователя. – Чердак.

Туманов чуть заметно кивнул.

На лестнице Павла догнала Уля. Она протиснулась мимо

городового, схватила хозяина за рукав и зашептала ему на ухо, быстро и горячо:

– Я спрятала. Склянку сорок седьмой, ту, вчерашнюю. И тетрадь со спиралями. Я ещё вечером унесла к тётке. Они не найдут. Слышите? Не найдут.

– Умница, – одними губами сказал Павел.

Городовой оттёр её плечом, и Уля осталась стоять на площадке второго этажа – маленькая, в съехавшей шали, с Костиной мокрой рубашкой, которую она так и не выпустила из рук.

Его повезли не в участок, а сначала на Солодовую. Кузьмичёв ехал впереди в пролётке, Павел – сзади, в другой, зажатый между двумя городовыми. Светало. Город просыпался медленно и неохотно, как просыпается больной: где-то стучали ставнями, где-то дворник шаркал метлой по мостовой, где-то брехала собака. На углу Торговой площади мальчишки-газетчики уже раскладывали на лотках утренний «Листок», и Павел, проезжая мимо, успел прочитать заголовок крупными буквами: «Третья жертва сноварения? Город требует ответа».

Третья, подумал он. Ещё не знают о Косте. Завтра будет «четвёртая».

У аптеки стояла толпа. Человек двадцать, может быть, больше: лавочники с Солодовой, бабы с корзинами, мастеровые, какие-то незнакомые люди в картузах. Когда пролётка с Павлом остановилась у крыльца, толпа зашумела и пода-

лась вперёд. Кто-то крикнул: «Отравитель!» Кто-то другой: «Ведьмак!» В стекло витрины ударился камень и отскочил, оставив звёздочку трещины.

– Разойдись! – рявкнул Кузьмичёв, выбираясь из пролётки. – Разойдись, кому говорят! Полиция!

Толпа отступила, но не разошлась. Павел видел лица – знакомые и незнакомые. Сосед-часовщик с первого этажа смотрел на него из своей двери с жалостью и страхом. Шляпница Анфиса Гурьевна стояла в первом ряду, прижимая к груди сумочку, и в глазах у неё было что-то похожее на торжество. Лавочник с Гончарной, которому Павел вчера дал успокоительный сбор, отвёл взгляд.

– Ключи, – сказал пристав.

Павел отдал ключи.

Обыск длился два часа. Городовые ходили по аптеке, открывали шкафы, выдвигали ящики, вытряхивали на пол содержимое банок и мешочков. Павел стоял у прилавка под присмотром третьего городового и смотрел, как двадцать лет его работы превращаются в груду травы, осколков и рассыпанных порошков. Кузьмичёв руководил, сидя на Павловом табурете у кассы и куря папиросу за папиросой.

– Это что? – спрашивал он, когда ему подносили очередную банку.

– Ромашка аптечная.

– Изъять. Это что?

– Мята перечная.

– Изъять. А это?

– Лунная вода. Для настоев.

– Лунная вода, – повторил пристав с отвращением. – Колдовство. Изъять.

Из лаборатории вынесли все склянки с основой – и обе склянки сорок восьмой партии, полученные от Вельяминова, и пустую склянку из-под сорок седьмой, первую, которую Павел так и не выбросил, и початые склянки старых партий. Их сложили в ящик, переложив соломой, и Кузьмичёв лично запечатал ящик сургучом.

– В управу, – велел он. – На экспертизу. Старшина Вельяминов любезно согласился посмотреть, что там намешано.

Павел посмотрел на пристава долгим взглядом.

– Старшина, – сказал он. – Согласился. Любезно.

– А кто ж ещё? – Кузьмичёв выпустил дым. – Он в этом деле лучше всех понимает. Вы ведь сами у него учились, господин аптекарь. Вот пусть учитель и посмотрит, чему ученик научился.

Сверху, из квартиры, спустилась Аграфена Лукинична. Она была одета, причёсана, в чистом переднике, будто собиралась к обедне, и держалась так прямо, как держалась, наверное, лет пятьдесят назад, когда впервые поступила в услужение к Павловой матери.

– Ты, батюшка, – сказала она приставу, – по комнатам-то не лазь. Нечего там тебе. Барин не прячет ничего. Чего искать – тут, внизу, ищи.

– Ты, бабка, помолчи, – отмахнулся Кузьмичёв. – Не тебе указывать. Иванов, Петров – наверх. Всё перерыть.

Городовые затопали по лестнице. Аграфена Лукинична посмотрела им вслед, потом подошла к Павлу и сунула ему в руку что-то маленькое, тёплое, завёрнутое в платок.

– Тут сухари, – сказала она громко, для городового. – И сала кусочек. Там, говорят, худо кормят.

А тише, почти не шевеля губами, добавила:

– Чердак не тронут. Я им сказала, что там голуби дохлые и что доски гнилые, провалятся. Не полезут.

– Спасибо, Аграфена Лукинична.

– Не за что, батюшка. Ты только смотри. Там, в остроге-то, не спи крепко. Мало ли.

Наверху городовые громыхали мебелью. Что-то упало, разбилось. Павел подумал о фотографической карточке на комоде и стиснул зубы.

Потом сверху спустился городовой, тот, которого пристав звал Петровым, и подал Кузьмичёву карточку в деревянной рамке.

– Вот, ваше благородие. На комоде стояла. Баба какая-то. С фонарём.

Кузьмичёв взял карточку, посмотрел на неё, и что-то в его лице изменилось. Совсем чуть-чуть. Он смотрел на неё дольше, чем смотрят на фотографию незнакомой женщины.

– Жена? – спросил он, не поднимая глаз.

– Жена.

– Красивая была. – Пристав положил карточку на прилавок лицом вниз. – Изымать не будем. Пусть стоит. – Он встал с табурета и застегнул шинель. – Всё. Опечатать. Аптеку закрыть до особого распоряжения. Бабку – пусть живёт наверху, раз уж там живёт, но в аптеку чтоб ни ногой. Девчонку, ученицу, сюда не пускать. Если придёт – гнать. Господина аптекаря – в острог.

– В острог? – переспросил Павел. – Не в участок?

– В участке у меня мест нет. Пьяных с Подгорья навезли с пожара. А в остроге – пожалуйста. Там у нас и одиночки есть, для благородных.

Павла вывели на улицу. Толпа снова зашумела. Камень больше никто не кидал, но крики стали громче, злее. Какая-то женщина в чёрном платке протиснулась вперёд и закричала ему прямо в лицо, брызгая слюной:

– Ты моего мужа отравил! Он у тебя сон брал на прошлой неделе! Он теперь не спит! Сидит ночами у окна и смотрит! Говорит, лестницу видит! Ирод!

Павел остановился, несмотря на то, что городовой тянул его за локоть.

– Как его зовут? – спросил он. – Вашего мужа?

Женщина опешила.

– Баранов, – сказала она растерянно. – Игнат Баранов. Булочник с Торговой. Он у тебя сон брал, чтобы... чтобы...

– Чтобы печь во сне, – вспомнил Павел. – Он хотел научиться печь хлеб, как пёк его отец. По отцовскому рецепту.

Он забыл рецепт и хотел вспомнить.

Женщина заплакала.

– Не давайте ему спать, – сказал Павел быстро, пока городовой не уволок его к пролётке. – Слышите? Не давайте. Будите каждый час. Если он скажет вам, что его зовут по имени, – идите к следователю Туманову. Только к Туманову. Ни к кому больше.

– Пошёл, пошёл, – подтолкнул его городовой.

Павла посадили в пролётку. Кузьмичёв сел рядом, тяжело, так, что рессоры заскрипели.

– Агитируешь, значит, – сказал он, когда пролётка тронулась. – Народ стращаешь. Нехорошо.

– Я её предупредил. Её муж в опасности.

– Её муж, – сказал пристав, глядя прямо перед собой, – в опасности не больше, чем мы с тобой. Ты лучше о себе подумай, Остужев. Ты в остроге посидишь, подумаешь. Может, и вспомнишь, что ты в эти настои подмешивал. А может, и вспомнишь, куда жену девал девять лет назад. Я ведь тогда тоже на это дело ходил. Помню тебя. Сидел ты на кровати, бледный, и всё про запертую дверь твердил. А дверь-то, может, ты сам и запер. После.

Павел повернулся к нему.

– Вы ведь знаете, что это не так.

Кузьмичёв не ответил. Он смотрел вперёд, на конский круп, на мокрую мостовую, и усы его чуть заметно шевелились.

– Я знаю то, что мне велено знать, – сказал он наконец, так тихо, что Павел едва расслышал за стуком колёс. – И тебе советую. Сиди тихо. Не умничай. Может, и выйдешь.

Губернский тюремный замок, который в городе по старинке звали острогом, стоял на высоком берегу Ворожи за Подгорьем, на самой окраине, и был виден издалека: белые стены, четыре круглые башни по углам, зелёная крыша караульни. Павла провели через ворота, через двор, где несколько арестантов в серых халатах кололи дрова под присмотром надзирателя, через длинный сводчатый коридор, пахнущий карболкой, кислой капустой и сыростью.

Одиночная камера оказалась узкой, как Костина комнатка-пенал: шесть шагов в длину, три в ширину. Железная койка, привинченная к стене. Табурет. Деревянная параша в углу. Крошечное окошко под потолком, забранное решёткой, сквозь которое было видно кусочек серого неба. На стене кто-то нацарапал гвоздём крест и под ним несколько слов, полустёртых, неразборчивых.

Дверь захлопнулась. Лязгнул засов.

Павел сел на койку. Развернул платок Аграфены Лукиничны – там действительно были сухари и кусок сала, а ещё, на самом дне, маленький медный образок Николая Угодника на шнурке, который она, видимо, сняла с себя. Он долго смотрел на образок. Потом надел его на шею.

За окошком начинался дождь. Капли стучали по жести карниза – редко, потом чаще, потом ровно и монотонно, как

стучит метроном. Павел лёг на койку, на жёсткий соломенный тюфяк, и стал смотреть в потолок, по которому ползла трещина, похожая на реку на карте.

Он думал о Косте. О руке, которая становилась водой в его ладони. О голосе, считающем ступени. «Тут дверь, Павел Ильич, тут дверь, и за ней...»

Он думал о Барановой, которая кричала ему в лицо. О булочнике, который сидит у окна и смотрит на лестницу.

Он думал о Вельяминове, который «любезно согласился» посмотреть основу. О том, что все склянки сорок седьмой партии теперь у него. Все, кроме одной, спрятанной у тётки в Заречье.

Он думал о том, что Кузьмичёв дольше, чем нужно, смотрел на Верину карточку.

И он думал о том, что впервые за девять лет ему страшно уснуть.

К вечеру за стеной перестали молиться, и вместо молитвы раздался стук – три коротких удара в камень, потом пауза, потом ещё три.

Павел сел на койке и прислушался. Стук повторился. Потом голос – глухой, пробивающийся сквозь щель между камнями у самого пола, где штукатурка давно осыпалась:

– Эй. Новенький. Слышишь?

– Слышу.

– Ты за что?

Павел помолчал.

– Говорят, за отравление.

– Ишь ты. – Голос за стеной хмыкнул. – А я за конокрадство. Прохором звать. Третий месяц сижу. Ты кого отравил?

– Никого.

– Все так говорят. – Прохор закашлялся. – Ты слышь, новенький, ты спать-то тут будешь?

– Буду, наверное.

– Ты это... ты, если лестницу увидишь, не ходи.

Павел замер.

– Какую лестницу?

– А такую. – Голос за стеной стал тише. – Белую. Вниз. Тут у нас половина коридора её видит, с прошлой седмицы. Надзиратель смеётся, говорит – со скуки мерещится. А Сёмка-фальшивомонетчик из восьмой три ночи назад как лёг, так и не встал. Утром дверь открыли – нету Сёмки. Койка мокрая. Надзиратель сказал – сбежал. Как он сбежит, когда тут засов снаружи и окошко в пол-аршина? Записали – сбежал. Чтоб начальство не ругалось.

– Он видел женщину с фонарём?

Прохор долго молчал.

– Ты откуда знаешь?

– Знаю.

– Видел, – сказал наконец Прохор. – Говорил – красивая, в светлом. Говорила ему, что внизу деньги не нужно подделывать, там у всех всего вдоволь. Сёмка-то по деньгам мастер был. Такие бумажки рисовал – от казённых не отличишь. Ру-

ки золотые. – Он снова закашлялся. – А мне она не показывается. Я только лестницу вижу. Издалека. Видать, конокрады ей без надобности.

Павел приложил ладонь к холодному камню.

– Прохор. Тебе в остроге настои давали? Сноварные? Хоть раз?

– Какие тут настои, барин. Тут баланду дают. Хотя... – Прохор помолчал. – Лекарь приходил прошлой осенью. Мы тогда все кашляли. Давал капли от кашля, по ложке на ночь. Сладкие такие, медовые. Говорил, из управы прислали, для арестантов, бесплатно. Благодеяние. Мы смеялись – первый раз от начальства сладкое.

– Какой лекарь?

– А я почём знаю. Маленький такой, в очках. С саквояжем.

Павел медленно убрал руку от стены.

– Ты не ходи вниз, Прохор, – сказал он. – Что бы ни показывали.

– Не пойду, – отозвался голос. – Мне бы наверх. На волю. А вниз мне не надо.

И за стеной снова стали молиться – тихо, монотонно, сбиваясь и начиная сначала.

Дождь стучал. Трещина на потолке становилась всё темнее, всё шире. Павел закрыл глаза, потом снова открыл их и долго лежал, прислушиваясь к собственному дыханию. Где-то в коридоре кашлял надзиратель. Где-то за стеной кто-то

тихо, монотонно молился.

Потом он закрыл глаза снова и не открывал их больше.

Темнота пришла, как всегда.

Но на этот раз она была не пустой.

Глава 10. Склянки

Тётка Устиньи, Марфа Пескова, жила в Заречье, в самом конце Бережной улицы, в покосившейся избе, задние окна которой выходили прямо на Ворожу. Весной, в половодье, вода подходила к самому крыльцу, и тётка привязывала к перилам лодку, чтобы в случае чего уплыть на горку к церкви. Осенью вода отступала, оставляя на огороде полосы ила и мусора, и тогда тётка ходила по огороду с граблями и бранила реку последними словами, как бранят непутёвого мужа.

Мужа у тётки не было. Был когда-то, сплавщик, утонул на порогах лет двадцать назад. С тех пор тётка жила одна, брала стирку у богатых домов на том берегу, полоскала бельё в реке на мостках и растила племянницу, которую ей подкинули в восемь лет, когда Улина мать, тёткина младшая сестра, умерла от горячки в Подгорье.

Уля вернулась к тётке утром, когда Павла увезли с Почтовой. Она шла через весь город пешком, по мокрым улицам, прижимая к груди Костину ночную рубашку, которую так и не отдала городовому, и только на мосту вспомнила, что держит её, и долго стояла, глядя на реку, и думала, не бросить ли рубашку в воду, раз уж Костя всё равно там. Потом не бросила. Свернула и сунула за пазуху.

Тётка была на мостках, полоскала чьи-то простыни. Увидела племянницу, бросила простыни в корыто, вытерла руки

о передник.

– Ну? – спросила она. – Что там?

Уля рассказала. Тётка слушала молча, не перебивая, только крестилась время от времени. Когда Уля дошла до Павла в пролётке между городовыми, тётка плюнула в реку.

– Кузьмичёв, – сказала она. – Знаю его. Пёс. Он у нас в Заречье лет десять назад околоточным был. Брал со всех. С прачек брал, с рыбаков брал. Ворованное покупал. Его потом за что-то повысили. Говорили, кто-то за него сильно хлопотал. Из больших.

– Из каких больших?

– А я почём знаю. Из тех, что в каретах ездят. – Тётка снова взялась за простыню. – Ты есть хочешь?

– Нет.

– Значит, хочешь. Иди, там каша в печи.

Уля пошла в избу, но есть не стала. Она поднялась по приставной лестнице на чердак, где под самой крышей, между связками сушёного лука и старыми тётиными сетями, спала на сундуке, когда оставалась ночевать. Отодвинула сундук. Подняла незакреплённую доску в полу. Под доской, в тайнике, где когда-то утонувший дядя держал свой табак и деньги на чёрный день, лежали завёрнутые в клеёнку склянка сорок седьмой партии и её тетрадь со спиралями.

Она развернула клеёнку, села на сундук и стала смотреть на склянку.

Зелёное стекло. Пузатое, толстое, с неровностями, как

всегда у дешёвого заводского стекла. Горлышко с обломками сургуча. Бумажная этикетка, типографская, с чернильной надписью: «Партия 47». Ничего особенного. Таких склянок у Павла Ильича в лаборатории было за двадцать лет, наверное, несколько сотен.

Уля поднесла склянку к слуховому окошку, к свету, и стала медленно поворачивать её, рассматривая стекло. Она сама не знала, что ищет. Просто смотрела. Павел Ильич говорил, что сноварку отличает от простой травницы умение смотреть на вещи до тех пор, пока они не начнут с тобой разговаривать.

Склянка молчала. Уля повернула её ещё раз, и ещё, и потом, подцепив ногтем, осторожно отклеила край этикетки. Этикетка держалась плохо, клей на ней был дешёвый, мучной, и от сырости в чердаке почти отстал. Она отклеилась целиком.

Под этикеткой, на стекле, было нацарапано что-то. Очень мелко, тонко, будто кончиком алмаза, каким стекольщики режут стёкла. Уля поднесла склянку к самым глазам.

Это была лесенка. Маленькая, в полногтя, из пяти поперечных чёрточек между двумя вертикальными, и под ней – крошечная буква, похожая на «К», а может быть, на «Ж».

Уля долго смотрела на эту лесенку, и ей стало холодно, хотя на чердаке было душно от печного тепла, поднимавшегося снизу.

Значит, склянки метили. Не все – Уля была уверена, что

на старых склянках из аптеки никакой лесенки не было, она сотни раз мыла их, прежде чем вернуть на склад. Только эту. Или только сорок седьмую партию. Или только те склянки, которые шли... куда?

Кому?

Она завернула склянку обратно в клеёнку, положила этикетку в тетрадь между страниц, спустилась вниз и, не обращая внимания на тёткины окрики про кашу, побежала обратно на тот берег.

Склад Сноварной управы стоял на берегу Ворожи, чуть ниже моста, на Торговой стороне. Длинное кирпичное здание с подвалами, с железными воротами, с конторой на втором этаже, откуда кладовщик надзирал за погрузкой. Перед воротами, как всегда, стояли телеги, и разносчики, ругаясь, грузили в них ящики со склянками.

Сеньку Жмыха Уля нашла за складом, у забора, где он сидел на перевёрнутой бочке и курил, сплёвывая в лужу. Это был парень лет восемнадцати, рябой, рыжий, с выбитым передним зубом и с вечно смеющимися глазами. Уля знала его с детства: он тоже был из Заречья, его мать полоскала бельё на соседних мостках с тёткой Марфой.

– Устя! – обрадовался он, увидев её. – А я слыхал, твоего хозяина в острог свезли. Правда?

– Правда.

– Ишь ты. А говорят, он отраву варил.

– Он не варил. – Уля села рядом с ним на соседнюю бочку.

– Сенька, мне нужно знать про склянки.

– Опять? Ты ж вчера спрашивала.

– Это другое. – Она достала из тетради этикетку и показала ему. – Сорок седьмая партия. Ты её грузил?

– Ну, грузил. Я всё грузил. – Сенька пожал плечами. – Её ж вчера всю обратно везли. Отзыв, говорят. Порча. Полдня катались по аптекам, собирали.

– Все склянки вернули?

– Не все. От Штерна две не вернули, он сказал, что использовал. От Гаврилова одну. От твоего хозяина – там пристав всё забрал, в управу свёз ящиком. А остальные вернули. Их на завод отправили, за реку.

– Сенька. – Уля понизила голос. – А ты не замечал, что на некоторых склянках, под этикеткой, нацарапано что-то? Лесенка?

Сенька перестал курить. Глаза его, всегда смеющиеся, вдруг стали внимательными и настороженными, и Уля поняла, что попала.

– Ты чего это? – сказал он тихо. – Ты где видела?

– На нашей. Под этикеткой. Маленькая лесенка, пять перекладин. И буква.

Сенька огляделся по сторонам. Никого рядом не было, только у ворот орали разносчики, споря из-за ящика.

– Я не знаю ничего, – сказал он. – Слышь, Устя? Я ничего не знаю. Только ты никому. Есть склянки, которые господин Корсак сам отбирает. Из каждой партии. Не много – пять,

шесть, десять. Он их в конторе держит, отдельно. Потом сам говорит, кому везти. Мне в руки даёт, лично, и говорит: «Эту – в такую-то аптеку. И чтоб никто не видел». Я везу. Мне за это гривенник сверху.

– А лесенку ты видел?

– Видел раз. Этикетка отклеилась от сырости, как у тебя. Я ещё подумал – чего это. А потом решил, что не моё дело. Мне гривенник платят, чтоб не моё дело было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.